К 76 2/180

К76 2/180

В.К.П.(б) ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И В.К.П.(б)

А. ПИРЕЙКО

К76 2/180

В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРИБОЙ»
ЛЕНИНГРАД

ОТДЕЛ Ц. К. В.К.П. (б) ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ и В.К.П. (б).

А. ПИРЕЙКО

К76 2/180

В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ

ВОСПОМИНАНИЯ РЯДОВОГО

716/7

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРИБОЙ“
ЛЕНИНГРАД

ТИПОГРАФИЯ
РАБОЧЕГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
„ПРИБОЙ"
имени
ЕВГ. СОКОЛОВОЙ
ПР. КРАСН. КОМАНДИРОВ 29
ЛЕНИНГРАД.

1926

Гос... 4926 ✓
20 IV ... С.

Ленинградский Гублит № 11.385. Тираж 4.125 экз. —4 Зак. 673.

Государственная публичная

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Воспоминания тов. А. Пирейко, лежащие перед читателем, затрагивают крайне интересную и весьма мало освещенную в нашей литературе воспоминаниями непосредственных участников сторону нашей предреволюционной и революционной действительности — жизнь, быт и настроение русской армии в эпоху империалистической войны и первых дней революции.

Автор, рабочий-большевик, правдиво излагает, что́ он видел, слышал и пережил в рядах царской армии того времени. Автор объективен, наблюдателен и правдив, что делает его записки особенно свежими и ценными. Следя за изложением автора, мы видим в действии рабочего-большевика, оторванного мобилизацией от партийной организации, предоставленного самому себе и вынужденного собственными силами разбираться в том сложном клубке вопросов, который вставал у каждого партийца-большевика и у рабочего класса вообще перед лицом разразившейся империалистической войны и измены вождей II Интернационала.

Если в настоящее время точка зрения большевиков на империалистическую войну и вытекающая отсюда тактика — пораженчество—для партийных рабочих является ясной и понятной, то этого далеко нельзя было сказать, если вернуться мысленно к моменту начала войны. Война застала нашего автора в Риге, где в то время была большая и крепкая социал-демократическая организация. Как она реагировала на объявление войны? Какие лозунги она выкинула? Какие действия она рекомендовала массам? Автор правильно отмечает, что отсутствие в первое время определенных директив Центрального Комитета поставило организацию в состояние некоторой растерянности и замешательства. О том, что против войны надо протестовать, что социалист должен быть против войны и бороться с ней, — это наши рабочие-большевики знали твердо. Но это — вообще говоря. В данном же случае позиция вождей II Интернационала с их оборончеством,—а многие из них пользовались уважением наших рабочих, как ортодоксальные марксисты, вроде Каутского и Жюля Гэда, — внесла некоторое замешательство в умы: протестовать надо, но как? Это было неясно. И тов. А. Пирейко это хорошо показывает нам: сначала организация решила собраться и продискутировать вопрос о форме протеста, затем, когда это, по независящим обстоятельствам, не удалось и когда в рабочей массе явственно обнаружился взрыв

патриотического настроения, организация решила, что „дальнейший протест против войны был бы бессмыслицей"; вопрос о протесте, таким образом, был снят, оставшись нерешенным, а на его место встал новый практический вопрос: как должна реагировать организация на мобилизацию своих членов, должен ли член партии являться на мобилизацию или нет? Этот вопрос также не был решен организацией. Всем и каждому была предоставлена полная свобода, — можешь являться, а можешь и не являться.

И тов. А. Пирейко правильно указывает, что отсутствие определенной директивы партии по этому вопросу должно было действовать на каждого отдельного члена ее деморализующе: на этой почве начали развиваться поиски личной протекции, чтобы легально уклониться от мобилизации, оставшись на заводе, работать на оборону в качестве военнообязанного. И в этих поисках протекций скоро стерлась всякая грань между идейным партийным работником и беспартийным рабочим: каждый заботился о себе, стараясь лучше устроиться.

Тов. А. Пирейко не рисуется, он просто и хорошо рассказывает, что и ему не хотелось быть мобилизованным, и он пытался как-нибудь остаться; он с этой целью удрал из Риги в Екатеринослав, где мобилизация призыва его года еще не производилась. Но автору, что называется, „не повезло". Когда была объявлена мобилизация и в Екатеринославе, автор соблазнился общераспространенной практикой уклонения от мобилизации и послал вместо себя на прием со своими документами подысканного им больного человека. Но расчет автора не оправдался, и подставного больного приняли. Так нашему автору пришлось все же пойти в армию.

Картина казарменной жизни, отношение к солдату всякого рода начальства, от высших до последнего взводного, обрисованы автором достаточно ярко.

Говоря о настроении солдатских масс в первые дни войны, автор отмечает прежде всего полную безграмотность армии: армия совершенно не разбиралась в происходящих событиях. Однако мысль солдат все же искала ответа на вопрос, прежде всего, о виновниках войны. Политически неразвитая мысль, естественно, шла по линии наименьшего сопротивления, обращаясь прежде всего к немцам: это они заняли у нас лучшие места в государстве, это они составили заговор, чтобы нас окончательно поработить. И в армии создается настроение против немцев. Солдат войны не хотел с самого начала, но злоба против немца, как виновника войны, у него нарастала.

Не лишены интереса те места воспоминаний, где автор говорит об отношении к русским со стороны славянского населения Галиции, занятой нашими войсками в первые же месяцы войны, и о политике российских властей в занятом районе. Русская армия в Галиции в первое время пользовалась большим сочувствием населения, которому Россия казалась более близкой, чем Австрия. Но политика галицийского губернатора графа Бобринского делала все возможное для того, чтобы это сочувствие

местного населения свести на-нет: произвол, всевозможные насилия, полнейшее бесправие, наводнение страны жандармами и сыщиками, деятельность черносотенного духовенства, понаехавшего в Галицию, еврейские погромы, широко развитое мародерство, при полном попустительстве начальства, — все это привело к тому, что начавшееся наше отступление из Галиции происходило уже в атмосфере острой неприязни населения.

Автор показывает нам, как затянувшаяся война начинает оформлять недовольство войной русской армии, как в поисках виновников войны русский солдат и рядовое кадровое офицерство начинают поворачивать свое внимание от немцев к внутренним российским причинам. Под влиянием военных неудач, краж и взяточничества военных властей начинает расти политически-оппозиционное настроение. Рядовое офицерство, на которое ложилась вся тяжесть войны, явилось тем агитатором, который начал оформлять настроение солдатской массы. Автор рисует интересную сценку, как офицер-прапорщик затеял с солдатами разговор на тему о неудачах нашей армии, объясняя это тем, что в армии есть много изменников, предателей и шпионов на высших постах. Солдатская масса из этого тут же вслух делает тот вывод, что, если уж чистить армию, так надо „начинать с головы", т.-е. с самого Николая II, ибо „какой это царь", который окружил себя жуликами и всякими мошенниками.

То же офицерство, но уже из „благонадежных", являлось агитатором солдатской массы, несколько в ином смысле. Видя растущее недовольство солдат, такие офицеры начинали чересчур злоупотреблять нападками на социалистов и революционеров, которые мутят народ. Так как это были офицеры, которых обычно солдатская масса ненавидела, то естественно, что, по закону, так сказать, психологического противоречия, нападки таких офицеров на социалистов и революционеров заинтересовывали солдат и вызывали инстинктивное сочувствие к революционерам, которых так не любят эти офицеры.

Наконец, сами солдаты, и помимо воздействия офицерства, начали все более и более разбираться в тех порядках, которыми жила наша российская действительность того времени.

Так стихийно революционизировалась русская армия. Следует отметить то обстоятельство, что никакой революционной систематической работы в рядах армии, стоящей на фронте (здесь дело идет о 7-й армии), ни одна из социалистических партий не вела. Автор не упоминает ни о существовании каких-либо партийных групп, ни о появлении прокламаций, он не упоминает даже о политических арестах; очевидно, таких случаев в его практике не наблюдалось. Армия в буквальном смысле лежала вне сферы воздействия революционно-социалистической мысли. Революционизирование армии шло само по себе, стихийно, армия сама напрягала мысль, сама старалась мучительно разобраться, и ей посильно помогали в этом такие же отдельные одиночки-большевики, попавшие в ее ряды, как тов. Пирейко. Мы наблюдаем его попытки

пропаганды, его попытки направить мысль солдата на правильный революционный вывод и т. п.

Чем дальше, тем больше и больше крепло недовольство армии войной и российскими порядками, которые уже определенно заняли место немцев в качестве виновников войны. Все чаще и чаще поднимался разговор со стороны пожилых солдат из рабочих о революции 1905 года. А на ряду с этим настроение—как бы перейти в плен и тем избавиться от тягот войны... Интересный штрих: когда до армии дошло известие об убийстве Распутина, армия встрепенулась, и один из героев убийства, Пуришкевич,— как свидетельствует автор,—начал определенно завоевывать себе популярность.

Февральская революция явилась для фронта полнейшей неожиданностью, но она сразу развязала солдатское настроение. „Армия целиком перешла на сторону революции" (автор забыл исключить черносотенное офицерство). В армии начинается политическая работа. Как и везде в то время, вдруг появляется колоссальное количество „социалистов". „И кто только тогда не был социалистом!" — вспоминает автор. И опять-таки партийных большевиков среди этих социалистов оказались единицы, вроде самого автора, зато меньшевиками, а в особенности эс-эрами, хоть пруд пруди. Надо ли говорить, какая волна шовинизма и оборончества обрушилась в лице этих „социалистов" на фронтового солдата. Наш автор вместе с другим товарищем-большевиком вошел было вначале с меньшевиками в объединенный социал-демократический коллектив. Однако, вскоре наши товарищи увидели, что им с меньшевиками не по дороге, и мы наблюдаем по запискам тов. А. Пирейко, как начинает в армии строиться большевистский коллектив. Этот коллектив, весьма слабый по своим силам, производил, однако, впечатление большой и хорошо поставленной организации благодаря тому, что активнейшую помощь в пропаганде большевизма оказали солдаты — рабочие военной типографии. Добровольно, во внерабочее время, эти беспартийные рабочие перепечатывали большевистские листки и отдельные статьи из газеты „Правда", все то, что тов. Пирейко с большими трудностями удавалось все же добывать.

Большевизация армии, рост и влияние идей большевизма, рост популярности Ленина и отход широких солдатских масс от социалистов-оборонцев достаточно хорошо выявлены в воспоминаниях тов. А. Пирейко. Заключительные главы — отношение армии к Октябрьской революции и развал армии, как боевой единицы, также выявлены в воспоминаниях достаточно ярко.

Небольшая книжечка тов. А. Пирейко является безусловно ценным вкладом в столь небогатую литературу о жизни царской армии эпохи империалистической войны и революции.

В. Залежский.

I. Рига и начало войны.

Начало войны 1914 года захватило меня в Риге. Переживавшийся подъем рабочего движения, рост общественности в рабочей среде настолько поглотили нас всех, рядовых партийных работников, что никто из нас тогда не ожидал так скоро войны. До войны 1914 года Рига была одним из крупнейших промышленных центров. Рига всегда была на втором месте после Петербурга по революционному движению, и на все события, происходившие тогда в Петербурге, Рига отвечала первой; в особенности это было в 1914 году, после событий в Баку, на которые первым реагировал Путиловский завод. Пример путиловцев оказался заразительным для всех рабочих не только Петербурга, но и Риги, и там так же, как в Питере, недалеко было до баррикад. К началу же войны эта забастовочная волна шла на убыль или, вернее, теряла свою силу. Рига того периода в некотором отношении превосходила даже Петербург, так как нигде, как в Риге, не были развиты всякого рода общества. Трудно было найти в городе даже самого захудалого обывателя, который не принадлежал бы к какому-нибудь обществу. Правда, среди этих обществ было много таких, которые носили буржуазный характер, было много певческих обществ, пожарных, музыкально-драматических, каждый праздник выезжавших за город, на лоно природы, на прогулку. Некоторые из этих обществ — в особенности пожарники — занимались иногда пьянством и т. п. Тем не менее потребность в общественной жизни была высока, как ни в одном из русских городов. На-ряду с этими обществами было много и рабочих клубов, которые, также прикрываясь поездками на лоно природы, собирали вокруг себя много рабочих, и социал-демократия Латышского края умело использовала рабочие клубы, с большим успехом ведя в них с.-д. пропаганду. Вообще Рига того времени имела много особенностей, которых не знали русские города: с одной стороны, там более, чем где бы то ни было, жестоко расправлялись с революционным движением, с другой же стороны—нигде, благодаря обилию всякого рода обществ, не было таких благоприятных условий для ведения с.-д. пропаганды в рабочей среде, как в Риге. Русское правительство, в виду роста революционного

и стачечного движения вообще и, в частности, в Петербурге и Москве, лишало многих активных участников этого движения права жительства в столицах и во многих промышленных городах Российской империи (так называемые 69 пунктов). Но Рига в число этих пунктов не входила, вследствие чего многие высланные из Петербурга и Москвы приезжали в Ригу. Тут, очевидно, имелось в виду, что приезжие из России неисправимые революционеры, очутившись в среде латышских рабочих, где был силен национализм, без знания языка, почувствуют себя чужими и займутся национальной грызней.

Но эти расчеты не оправдались, и Рига все больше и больше превращалась в крупный революционный центр. Благодаря умелой работе, с.-д. организации Латышского края удалось настолько распропагандировать рабочих-латышей, что в их среде вообще никакая другая социалистическая партия, кроме с.-д., не имела никакого авторитета. Социалист-революционер считался белой вороной в среде рижского пролетариата, и если попадались эс-эры то они были гастролерами, откуда-нибудь приезжавшими, но не выходцами из рядов рижского пролетариата. С их арестом или отъездом умирала вся их организация. Другое дело—латышская организация РСДРП: она была настолько сильна, что никакие репрессии не могли разрушить ее.

Но вот началась война, и в виду того, что рижская промышленность пользовалась сырьем и топливом, главным образом, из-за границы, с одной стороны, с другой стороны,—в виду близости к театру военных действий, Рига вместо прежнего революционного центра превратилась в военный лагерь. Работали полным темпом только те заводы, которые были приспособлены к изготовлению военных снарядов, и это произошло не вдруг; вся же остальная промышленность, точно по мановению волшебного жезла, приостановилась. В особенности тяжело ударила война по рабочим полиграфической промышленности и по промышленности, носящей ремесленный характер. В таких отраслях труда безработица стала колоссальной.

В первые дни войны были основания полагать, что мобилизованные рабочие и крестьяне что-то должны будут сделать, если их призовет к тому РСДРП. С.-д. Латышского края того времени даже в крестьянской среде, в деревне, среди батраков, имела сильную организацию, что подтверждается таким фактом, как отказ запасных крестьян Венденского уезда, Лифляндской губернии, от явки при первой мобилизации. Но ЦК с.-д. Латышского края, состоявший в большинстве из меньшевиков, почему-то молчал, ни к чему не призывал, точно воды в рот набрал, и не давал никаких директив для низовой организации. Настроение же в среде мобилизованных и вообще в рабочей среде было какое-то неопределенное. Хотя демонстрация против войны и была устроена с участием как рабочих, так и запасных, но это была чисто стихийная демонстрация: скоплялись по центральным улицам; толпой запасных и рабочих был разорван

в центре города, у памятника Петру Великому, патриотический флаг демонстрации черносотенцев; выбросили красное знамя с лозунгом „долой войну", запели „марсельезу". Вот и все, что мог сделать пролетариат Риги против войны.

Тяжело война ударила по рабочему вообще, но еще тяжелее было тем рабочим, которые вследствие войны оказались без работы. Первая мобилизация прошла без всяких потрясений,— время для протеста против войны было упущено; в средних числах сентября собралась в рабочем клубе „Образование" фракция большевиков русской организации для того, чтобы решить вопрос, что делать. Русская организация, ведущая партийную работу среди русских рабочих, называлась „Русским культурным центром". Она была сравнительно небольшой организацией и, в виду своей малочисленности, не могла решать вопросы для всей Риги: это мог сделать только РК, куда входил и представитель от „Русского культурного центра". Фракция большевиков собралась для того, чтобы решить вопрос для себя, что делать. Но, чтобы не засесть в тюрьму всем и не провалить общества, в котором собрались и где было возможно встречаться вообще,— а это очень важно было для того времени,—условились: протокол собрания вести так, будто мы собрались обсуждать вопрос о том, как и каким путем оказать помощь членам нашего общества „Образование", ушедшим на войну, и их семействам.

Никаких директив центрального партийного органа, как реагировать на войну, у нас не было. Были только сведения из буржуазных газет о том, что немецкие социал-демократы сожгли красное знамя, что фракция с.-д. в рейхстаге голосовала за кредиты на войну, и о многом другом, чему не хотелось верить, так как настроение собравшихся было далеко не патриотическое. Началось собрание оглашением письма Вандервельде к русским рабочим с призывом поддержать войну,—того самого Вандервельде, который так недавно был в России и которого так усиленно рекламировали наши тогдашние рабочие газеты перед русским пролетариатом, как председателя II Интернационала. Письмо это всех удивило, у всех собравшихся было к письму критическое отношение. Шла дискуссия, как реагировать на войну вообще и, в частности, на это письмо.

В самый разгар дискуссии вкатывается в помещение полиция; говоривший оратор быстро перевел свою речь на такую тему, будто мы и в самом деле собрались для того, чтобы найти средства для оказания помощи запасным, ушедшим на войну. Оратор предлагал для этой цели поставить пьесу Гоголя „Женитьба", которая могла бы дать много средств. Полиция все же всех нас арестовала вместе с протоколом собрания, которого никто и не собирался уничтожать, так как в протоколе все было в порядке и придраться к нему было нельзя. Все арестованные оказались членами общества. Пристав, хотя и не нашел ничего предосудительного в протоколе, никак не мог согласиться с тем, что мы собрались только для того, чтобы обсудить вопрос, как помочь

ушедшим на войну. И говорит: „Если вы действительно занимаетесь такими хорошими делами, то почему же вы предварительно не заявили мне о предполагаемом у вас собрании, тем более, что последний циркуляр губернатора, изданный на основании военного положения, запрещает в городе всякие публичные и частные собрания без особого разрешения подлежащих властей?". Председатель общества „Образование", студент Политехнического Института тов. Франц (между прочим, замученный немцами в концентрационном лагере в Риге в 1918 г.) так истолковал приставу губернаторский циркуляр:

„Циркуляр, который мы не имеем ни малейшего желания нарушать, говорит о публичных и частных собраниях. К публичным можно отнести собрания, если они устраиваются в публичном месте и доступны широкой публике; под частным собранием мы понимаем собрание, если я или кто другой созвал собрание частным образом, т.-е. у себя на квартире. В данном же случае не было ни того, ни другого. Мы собрались как члены законно существующего общества, а такого циркуляра, чтобы члены обществ не могли собираться в помещении своего общества, еще не было".

Пристав согласился с доводами председателя, но попросил на будущее время все-таки ставить его, пристава, в известность, по каким поводам и когда в обществе бывают собрания, так как теперь война и ему особо поручено следить за собраниями обществ в его районе. „А если вы хотите на своих собраниях изыскивать средства для оказания помощи запасным, то, кроме поддержки таких собраний, с моей стороны ничего другого не будет".

Продержали арестованных до вечера в участке и, по удостоверении личности, всех освободили, несмотря на то, что среди нас были товарищи с очень большим прошлым, жившие по подложным документам и мобилизованные. Но до таких подробностей полиция не добралась. Было задержано несколько товарищей, которые назвали себя русскими именами, будучи евреями. Но на второй день и этих товарищей освободили. В обществе „Образование" попрежнему собиралась фракция и вообще устраивались собрания, но момент для протеста против войны был упущен, и жизнь общества стала ослабевать, так как многие активные товарищи были мобилизованы и отправлены вместе с другими мобилизованными в разные города. В Ригу начали прибывать солдаты из городов центральной России.

Война вступила в свои права. Предстояла вторая мобилизация, и в порядке дня наших партийных совещаний стал вопрос: следует ли членам партии в дальнейшем являться на мобилизацию или нет? Этот вопрос решался так: член партии может являться и не являться на мобилизацию. Хорошо было не являться тому, кто работал на заводе. Такому можно было хлопотать, чтобы его оставили в качестве военнообязанного для работы на оборону. Эти хлопоты в отдельности каждого рабочего, как

члена партии, так и беспартийного, создали такое положение в организации, что вообще ни о какой работе против войны не могло быть и речи. Вся работа ограничивалась только спорами о том, происходит ли оборонительная или наступательная война. Вместо какой-нибудь положительной партийной работы, как это было до войны, шли разговорчики в пользу будущей революции. Меньшевики и эс-эры сплошь и рядом не прочь были на собраниях вообще и, в частности, в обществе поболтать о том, что войну надо поддерживать, а то плохо будет, если победит Германия. Победа Германии, как они говорили, отодвинет Россию, как культурную страну, на 50 лет назад. Но среди этих ярых оборонцев не приходилось встречать ни одного добровольно ушедшего на войну. Каждый, кто только мог, будь это большевик, меньшевик или эс-эр, старался зачислить себя на оборону, т.-е. ускользнуть от мобилизации.

В особенности было тяжело тогда устроиться на работу товарищам, проявившим себя до войны в страховой кампании. Их нигде не принимали на работу, отовсюду выгоняли. На этом основании пишущий эти строки также оказался безработным. Усиленно поговаривали о второй мобилизации. Сколько попыток я ни делал устроиться на работу, однако мне не удалось остаться на заводе в качестве военнообязанного, ибо тот, от кого это зависело, струсил и не оказал надлежащей протекции.

II. Вторая мобилизация в Риге и бегство в Екатеринослав.

В средних числах сентября в Риге была объявлена вторая мобилизация, по которой призывались на военную службу все ратники первого разряда до 38-летнего возраста. Ригу нужно было обезглавить, по выражению генерала Ренненкампфа, как революционный центр. Ренненкампф сказал: „Для того, чтобы успешно вести войну, прежде всего надо обезглавить революцию, т.-е. произвести мобилизацию в рабочих районах, так, чтобы она коснулась всех рабочих до 40-летнего возраста; оставшиеся же работать на оборону, как военнообязанные, вынуждены будут укротить революционный пыл".

Вторая мобилизация в Риге, как в пролетарском центре, этого вполне достигла. Мобилизация коснулась всего, что было здорового в рабочем классе. Часть рабочих ушла на фронт, а те, которые остались работать в качестве военнообязанных на заводах, покорно гнули свои спины, перенося какие угодно условия работы, лишь бы только избежать мобилизации. Мне, безработному, тоже не хотелось итти на войну, особенно после того, как я сходил на сборный пункт к воинскому начальнику и увидел жестокое обращение с солдатами: у меня волосы дыбом встали от такого обращения в тылу с людьми, которым, неведомо за что, в перспективе грозит смерть или инвалидность на всю жизнь.

Посмотрел я на всю эту историю и подумал: „А ну вас к чорту с вашей родиной! Пусть идет защищать ее тот, у кого она есть". Но что делать? Работы нет, получить ее в Риге—безнадежное дело. Решил поехать в Екатеринослав, как город более отдаленный от театра военных действий. Ночевкой в Екатеринославе я мог быть обеспечен до устройства на работу, имея там хороших знакомых и товарищей. В первых числах октября 1914 года я был уже в Екатеринославе. Прежде всего меня волновал вопрос, могу ли я прописать свой паспорт, как мобилизованный и удравший в другой город. Ознакомившись с екатеринославскими порядками и узнав, что в Екатеринославе, принадлежавшем к Одесскому военному округу, мой год еще не был мобилизован, я решил прописать свой паспорт. Не доверяя дворнику, я взял из домовой конторы паспорт и сам пошел в участок для прописки. В участке была большая очередь по прописке паспортов, а раз очередь, значит, хорошо: детально разбираться некогда, и с пропиской номер пройдет. Даю 50 копеек барышне, и в 10 минут все готово: паспорт получил на руки.

Теперь дело за работой. Но так как в Екатеринославе литографское дело, более мне знакомое, было развито слабо, найти работу по своей специальности мне не удалось. Зато удалось устроиться на гвоздильный завод Гантке за Днепром в качестве чернорабочего, через одного, как впоследствии выяснилось, провокатора—Версича Федора. Жалованье было 80 коп. в день. Одежды, приспособленной к дворовой работе, у меня не было, а чтобы купить таковую, надо было иметь 30 рублей. Накопить такую сумму денег при 80 коп. в день нельзя. Пришлось бросить эту работу, и через тов. Самуила (между прочим, очень хорошего и преданного партии товарища, хотя и меньшевика) я устроился на мельнице на поденную работу, по 1 руб. 40 коп. в день. Работа эта заключалась в следующем: во время мороза замерзли трубы, и я нагревал воду и носил в бак, чтобы не допустить приостановки работы на мельнице, так что от моей работы зависела работа всей мельницы. Работать приходилось 3—4 дня в неделю.

Тот провокатор, который устраивал меня на завод Гантке, был, между прочим, очень внимателен ко мне. Работал он секретарем страхкассы, получал всего 50 руб. в месяц. Он много расспрашивал меня про Ригу и, когда я заходил к нему, угощал меня такими обедами, что я и не знал, как к ним приступить: так много было блюд, всевозможных тарелок и вилок, что трудно было ориентироваться, с чего начать. Своими обедами он меня и оттолкнул: просто не хотелось вводить его в расход. Я перестал к нему ходить, хотя он и обещал устроить на лучшую работу. Мне казалось странным, как это человек, получая 50 руб. в месяц и имея ребенка и жену (к тому же жена училась где-то на курсах, за что нужно было платить 15 руб. в месяц), может устраивать такие шикарные обеды. И только

после Февральской революции выяснилось, что Версич Федор, помимо жалованья из страхкассы, получал 85 рублей из охранного отделения.

Хотя в Екатеринославе в это время и не так сильно чувствовалась война, как в Риге, однако и здесь приходилось наблюдать ту же картину, что и в Риге: каждый старался устроиться на заводе в качестве военнообязанного и ускользнуть от мобилизации. О большом темпе партийной работы среди рабочих не могло быть и речи.

Екатеринославские меньшевики-ликвидаторы ничем не отличались от рижских меньшевиков, также были вояками за чужой счет до тех пор, пока их не касалась мобилизация. Приходилось встречать таких товарищей из рабочих, которые считали себя оборонцами до мобилизации; когда же их самих касалась мобилизация, то они сплошь и рядом делались ярыми „пораженцами"-большевиками. Работа партийная велась строго-конспиративно и была незаметна в рабочей среде. Кроме того, в связи с арестом в Петрограде в ноябре 1914 г. с.-д. большевиков, депутатов Гос. Думы, произошли и в Екатеринославе аресты видных партийных работников. Помню, были арестованы Авилов (Глебов) и многие другие, так что сил стало меньше; между тем арест с.-д. большевиков — депутатов Государственной Думы создал у рабочих настроение в пользу большевиков. Многие рабочие-меньшевики, бывшие раньше оборонцами, сплошь и рядом переходили по вопросу о войне на сторону большевиков. Однако войной все было так сковано, что это особенно не бросалось в глаза.

III. Вторая мобилизация в Екатеринославе.

Турция объявила войну России, и в Екатеринославе была назначена на 1 января 1915 года вторая мобилизация ратников первого разряда. В число мобилизованных попал и я, и многие мне знакомые ликвидаторы, бывшие оборонцы. Некоторые из них, не имея возможности остаться военнообязанными на заводах, прибегали к найму больных людей, посылали их со своими документами к воинскому начальнику и таким образом освобождались от военной службы, как больные. Были и такие, которые, пользуясь неясностью своего документа, по которому трудно было определить, ратник ли он первого или второго разряда, просто не являлись по мобилизации и продолжали работать. Пример оказался соблазнительным и для меня. Я также нашел больного человека, который за небольшое вознаграждение пошел с моим документом, но больного моего признали годным. Итак, пришлось по мобилизации пойти на войну, так как на работе, даже на поденной, не оставляли мобилизованных; скрываться же от войны, не имея в кармане никаких средств, — дело трудное.

По неопытности, так как я никогда не был солдатом, я явился на сборный пункт и зашел прямо в кабинет к воинскому начальнику. Последний, когда узнал, что я мобилизованный, выгнал меня вон из кабинета и указал на двор, где собираются все мобилизованные. Кормили у воинского начальника мобилизованных очень хорошо, гораздо лучше, чем в остальных воинских частях: готовили вкусно, мяса и жиров было очень много; хлеба же было так много, что солдаты разламывали целые буханки хлеба и сметали ими грязь со столов, а потом все это выбрасывалось в мусор. Такая кормежка у воинского начальника производилась, очевидно, с целью создать у мобилизованных впечатление, что солдат вообще кормят хорошо.

Хаос у воинского начальника создался такой, что, несмотря на ежедневную отправку мобилизованных, можно было безнаказанно оставаться здесь недели две, а то и месяц; тем не менее, громадное большинство мобилизованных старалось скорее попасть в партию отправляемых в ту или иную воинскую часть. Попал и я в последнюю партию отправляемых. Дали нам офицера для сопровождения, который произнес нам напутственную речь, смысл которой сводился к тому, что он-де начальник строгий и что тот, кто в дороге посмеет отставать, будет строго наказан. Это было 11-го января, когда нас, ратников, большинство которых никогда не служило на военной службе, повели под командой старых солдат на вокзал. Когда начали нас погружать в вагоны, раздались душераздирающие крики и плач женщин, родственников и близких мобилизованных. Пришлось от этого кошмара забраться как можно дальше в вагон, несмотря на то, что из вагонов, раз уж туда залез, больше не выпускали. Были расставлены жандармы, которые теснили провожавших. Жены мобилизованных от горя рвали на себе волосы, цеплялись за буфера вагонов, чтобы остановить уходящий поезд с близкими людьми. Вой поднялся такой, что казалось, будто провожают людей на кладбище. Отошел поезд без звонка, так как воинские поезда вообще отходили без звонков. Куда везут, в какой город и зачем, — никто из мобилизованных не знал, и только через два дня мы узнали, что нас привезли в Киев и определили в 433-ю Киевскую пешую дружину.

IV. Первые месяцы военной подготовки в Киеве.

Политика военного начальства была такова, что если солдат мобилизован в одном городе, его непременно для прохождения военного обучения пошлют в другой город. Поэтому-то мы, мобилизованые в Екатеринославе, очутились в Киеве. Нечего и говорить, что солдатские казармы были битком набиты. Занятия были распределены так, чтобы у солдата не оставалось ни одной свободной минуты. В 5 часов утра будят: „Вставайте!..“ и каждый оклик сопровождается густой матерщиной. Встаем,

льем чай; в 6 часов кричит дежурный по роте: „На занятия“, и опять поминание матери. Строимся, идем на занятия. В 12 часов обед; приходим за обедом, — знакомый голос кашевара: „Вы что, сукины дети, так рано пришли? Обед еще не готов“. Наконец обед готов, раздается голос того же кашевара: „На молитву“ и опять то же крепкое словцо. Солдаты поют предобеденную молитву: „Очи всех на тя, господи, уповают...“. В этот момент кашевар заметил, что какой-то солдат не поет молитвы, и закричал на него: „Ах ты, сукин сын, ты что богу не молишься?“. Солдат этот оказался евреем и, естественно, не зная русских молитв, не молился, и получил за это зуботычину.

После обеда и мытья чашки, сопровождая русским матом, гонят вновь на занятия. В 5 часов ужин, после ужина уроки „словесности“, на которых солдаты изучают воинский устав о гарнизонной и полевой службе, воинские чины и правила отдания чести. „Долбили“ солдаты, как звать царя, его жену, детей, военного министра и прочее. Разъясняли также солдатам и то, кто внешний и внутренний враг. Внутренними врагами оказывались студенты, социалисты, „жиды“ и вообще все те, кто борется против царя и существующего строя. Вместе с тем требовалось от солдата, чтобы он хорошо знал молитвы и любил бога и царя, при чем все это вколачивалось в голову солдата с прибавлением знаменитого русского словца,—очевидно, для большей убедительности. Если же у солдата оказывался хоть один свободный час до поверки, которая происходила в 9 час. вечера, то его заставляли петь песни, под угрозой наказания в случае отказа. В праздник предлагают желающим пойти в церковь молиться. Раз можно не ходить, то и остаешься в казарме: подумаешь, какая прелесть ходить в церковь, да еще под командой! В будни надоело под командой ходить, а тут еще в праздник не дают отдохнуть! Остаешься в казарме, запасшись газетой, и думаешь: „Вот уж почитаю, когда в казарме станет свободней и меньше шума“. В церковь ушли, в казарме стало свободно. Приходит дежурный по роте и кричит: „Ах вы, сукины сыны... Кто не пошел в церковь, одевайтесь, пойдете чистить уборные и возить навоз!“. Вот что значило „добровольное“ желание ходить в церковь! На следующий раз будешь поневоле „добровольно“ богу молиться, лишь бы избежать неприятной работы — чистить уборные и возить навоз. В конечном счете, все равно такие работы проделывались руками солдат: это делалось в порядке очереди, и только в наказание посылали солдат вне очереди на такие работы. Следовательно, за нехождение в церковь тоже как бы полагалось наказание. В следующее воскресенье, когда вызвали добровольно желающих пойти в церковь, то и я оказался в числе их, так как все же в церковь ходить приятнее, чем чистить уборную и возить навоз.

В церковь, как известно, ходили под командой. Выстроили роту, фельдфебель на этот раз прочитал нравоучение солдатам: „Мы, солдаты, в том числе и я, всегда ведем себя неприлично,

потребляем без всякого стеснения нецензурные выражения... Это ничего: солдатам так и надо делать; но сегодня, когда мы идем в храм божий, надо воздержаться так выражаться на паперти святого храма, и кого замечу в неисполнении моего словесного приказания, то морду набью!". Как только окончилась служба в „святом храме", тот же самый фельдфебель, который только что предупреждал не ругаться, подсчитывая роту, не досчитался двух солдат и опять пошел поминать мать.

Что такое солдат царской армии? Он должен был уметь богу молиться, хорошо ругаться, хорошо отдавать честь офицерам и в то же время не понимать, почему и во имя чего он должен воевать.

Вся жизнь рядового солдата в казарме была так поставлена, что ему забивали голову всякой всячиной, и он не в состоянии был о чем бы то ни было мыслить. Надоест в казарме, в этом вечном шуме и гаме, пойдешь в город: комендант арестует тебя, посадит на гауптвахту, не сообщив об этом в часть, продержит месяц, а то и больше; придешь потом в часть, а тебя уже зачислили как дезертира, и снова будешь наказан: под ружье поставят за самовольную отлучку и начнут мучить такими тяжелыми унизительными работами, как чистка уборных и конюшен. Находясь в такой обстановке, все же иногда хочется поделиться с товарищами по несчастью о том, кому и для чего нужна война. Но как начать, чтобы это не было заметно для начальства, так как солдатам о таких вещах рассуждать не полагалось? Попадается в руки как-то газета „Последние Новости", бульварная газетка, издававшаяся тогда в Киеве. Солдат интересовал вопрос прежде всего о том, что пишут о мире. Читаю в газете, что „немецкие и турецкие солдаты устали от войны и воевать больше не хотят. А вот наши русские чудо-богатыри решили воевать до тех пор, пока не будет уничтожена угроза немецкого милитаризма". Никакой возможности собираться и решать эти самые „русские чудо-богатыри" не имели, да и понятия не имели о том, что это такая за штука милитаризм. У человека мало-мальски развитого после прочтения такой глупой газетной заметки не может появиться ничего другого, кроме презрения и негодования против газеты и писаки этой заметки; но ведь среди солдат было так мало развитых людей! Хочется, придравшись к этой глупой заметке, завести разговор на эту тему и указать, что над нами смеются. Но как начать? Берешь газетку и идешь к своему ближайшему начальнику, отделенному командиру, спрашиваешь: что такое милитаризм? — „А это зачем тебе понадобилось спрашивать о таких вещах, о которых я впервые в жизни слышу?" — „Да вот пишут в газетах, что пока немецкий милитаризм не будет побежден, будет продолжаться война".—„Я не знаю, що це таке, — говорит отделенный: — надо спросить взводного". Идем к взводному. Взводный говорит: „А черты его батьку знае, що це таке". Взводный спрашивает фельдфебеля. Фельдфебель говорит, надо у ротного командира спросить, но к рот-

ному не пошли спрашивать, ибо ротный командир был в царской армии недосягаемой величиной. Мне нужно было начать с солдатами разговор о войне, и я этого достиг: стал им объяснять, что такое милитаризм и маринизм и т. д. Солдаты разразились самой отборной руганью по адресу писаки этой газетной заметки: „Нас насильно гонят на эту проклятую войну, мучат здесь, а он еще пишет, сукин сын, что мы сами хотим воевать. Сволочь этакая!". Солдаты в большинстве были полуграмотные, а то и совсем неграмотные, плохо разбирались, что такое война. Однако они все же инстинктом чувствовали, что война им не нужна, и потому всякую толковую критику войны слушали с жадностью. Все участники нашей беседы единогласно пришли к выводу, что турецким, немецким, русским и каким бы то ни было солдатам эта война нужна так же, как собаке палка. Такими окольными путями приходилось подходить к солдату, чтобы вызвать в нем сознательное негодование против войны. Но такие беседы с солдатами давались нелегко, ибо они преследовались начальством беспощадно. Агитатору нужно было держать ухо востро, так как благодаря своей неразвитости и вытекающей отсюда наивности солдат легко мог проболтаться там, где следует молчать.

Армия настолько была безграмотна и неразвита, что не отдавала себе ясного отчета в том, что происходит вокруг нее. Вековое воспитание в духе религиозного смирения и преданности царю возымело свое действие, и на данной стадии войны армия была так настроена, что ее без всякого труда можно было вести куда угодно; и если впоследствии, как мы увидим, русская армия терпела поражение за поражением, то это происходило не по ее вине.

В последних числах января, в самую сильную стужу, последовал приказ о том, что в Киев приедет царь делать смотр войскам. Что значит для солдата приезд царя? Это — целая пытка. При встрече царя солдаты должны выглядеть молодецки, хорошо отвечать на приветствие царя, хорошо ходить в ногу; но, чтобы этого достигнуть, солдат мучают день и ночь: так что и для сна времени не остается — с 3 часов ночи до 9 часов вечера солдаты на ногах. Сплошь и рядом такой беспардонной учебой достигались обратные результаты, так как измученные люди не могут выглядеть молодецки. Тем не менее солдатам все же хотелось видеть царя, что было учтено и начальством.

В день встречи царя предложено было желающим добровольно пойти на кухню чистить картошку (в обычное время мы делали это по очереди), и я пошел добровольцем на кухню, вследствие чего не имел „счастья" видеть царя. Но муштровка накануне приезда царя даром для меня не прошла: я заболел, попал в околоток и на комиссию. Меньше всего солдат во время империалистической войны боялся болезни: болезнь была для него единственным отдыхом, и солдат не только не боялся болезни, но стремился заболеть, попасть в лазарет. Итак, я попал на

1923

комиссию с надеждой освободиться по болезни хотя бы на шесть месяцев. Что́ комиссия во мне нашла,— я не знаю и до сих пор; только помню теперь, что после этой комиссии последовал приказ о выделении из всей дружины, где было до 2.000 чел., 200 человек умственно и физически слабых и о составлении из них этапной роты для сопровождения пленных. В эту этапную роту попал и я.

Командный состав этой роты был подобран из запасных солдат не ниже 40-летнего возраста и из молодых слабых. Режим в этой роте был первое время необычайно мягок. Отправка нас в Галицию замедлилась; целый месяц мы ничего не делали, военной учебой нас перестали мучить. Времени было достаточно для чтения газет и прочего. Чтением газет я обратил на себя особенное внимание бывшего моего непосредственного начальника, отделенного командира, из подчинения которому я вышел после назначения меня в этапную роту. Этот бывший мой начальник настолько возненавидел меня, что никак не мог хладнокровно пройти мимо нар, на которых я, обычно лежа, читал газету. „Вот какие графы у нас развелись; мобилизовали их для того, чтобы они тут газеты читали в то время, когда нужно нести военные обязанности". Газеты читают, по его мнению, только помещики и вообще праздные люди.

Безделье этапной роты нервировало остальную солдатскую массу, которая в большинстве походила по своему развитию на этого отделенного, и действовало на нее разлагающе. Высшее начальство это заметило и поспешило этапную роту опять распределить по строевым ротам. И я как раз снова попал в подчинение к своему бывшему отделенному, который мне, действительно, отомстил за чтение газет. Тяжесть военной службы заключалась не только в том, что она вообще тяжела для рядового, но главным образом в том, что даже самый маленький начальник, какой-нибудь отделенный командир, так сводил личные счеты со своими подчиненными, что не каждый из них мог это вынести. Многие наживали болезни, которые и после военной службы делали их нетрудоспособными. Эта муштра заключалась в том, что солдата беспрерывно заставляют бегать по тому или другому поводу: солдат вспотеет, простудится, но, несмотря на это, его еще ставят дневальным вне очереди и посылают на тяжелые работы. Вот в такие условия пришлось попасть и мне. Но отделенный ошибся: я ловко симулировал, что не могу бегать, и не бегал; когда бывало поставят дневальным вне очереди, я преспокойно ночью ложился спать на посту, как ни в чем не бывало. Но вот последовал приказ о том, что из нашей дружины должна быть сформирована маршевая рота для пополнения рядов убывших. Началось формирование маршевой роты, и мне пришлось, по милости моего отделенного, за свое непослушание и упрямство попасть в список этой роты. Но высшее начальство по формальным соображениям, так как я уже числился в списке этапной роты, этого не утвердило, и мой отделенный остался с носом.

Формирование маршевых рот из ратников ополчения сопровождалось тем, что каждый старался откупиться и отдалить момент вступления в эту роту; фельдфебеля, взводные, кадровые тыловики при формировании маршевых рот наживались не дурно.

Темный, несознательный человек живет несбыточными надеждами и иллюзиями. Объявлена мобилизация, — идет покорно, нисколько не сопротивляясь, с надеждой на признание больным и на освобождение от службы; если не признали больным, надеется попасть в тыловую часть и таким образом избежать фронта; если не избежал, попал на фронт, тогда начинает мечтать после легкого ранения попасть в госпиталь или оказаться в плену. Но если бы солдаты думали, что они будут убиты или искалечены на всю жизнь, то едва ли их можно было так легко гнать на убой, как быков, без всякого с их стороны сопротивления. Скоро угнали и нашу этапную роту, и я очутился в Галиции в средних числах марта 1915 года.

V. Галиция и наше отступление.

Рота наша была названа 57-й этапной ротой; расположилась она сравнительно в далеком тылу, в городе Раве-Русской. Хотя этот город и считался в районе действующей армии, но так как вся Галиция была занята русскими войсками, то Раву-Русскую можно было считать глубоким тылом. Галиция сама по себе очень красива. Рава-Русская — маленький уездный городок, но очень живописный, кругом зелень. Нужно признать, что русская армия в Галиции в первые месяцы пользовалась большим сочувствием местного населения, среди которого было много украинцев — им Россия казалась более близкой, чем Австрия. Но это сочувствие, благодаря политике русского правительства, с каждым днем падало. Граф Бобринский, галицийский губернатор, немало поработал для того, чтобы сочувствие местного населения свести к нулю. Вместо того, чтобы организовать тыл и приспособить все, чтобы укрепиться и удержаться в Галиции, туда было собрано все черносотенное духовенство, во главе с епископом Евлогием, которое занялось не только ремонтом старых, но и строительством новых православных церквей, на что было затрачено немало средств. Это—с одной стороны; с другой стороны, бездарное русское черносотенное чиновничество было посажено в Галиции на все тыловые должности, как военные, так и гражданские. Кроме организации еврейских погромов, оно способно было заниматься и занималось еще пьянством и воровством казенного имущества, рассчитывая составить себе таким путем капитал на черный день.

Полковник Барановский, начальник гарнизона в Раве-Русской, которому была представлена наша этапная рота, сказал нам следующее напутствие: „Братья-солдаты! Мы, русские, не желали войны, но нам ее навязали германцы и австрийцы, которые

хотят завладеть всем миром; но раз она началась вопреки воле нашего государя императора, то мы должны ее закончить во что бы то ни стало победоносно. Несмотря на их могучую технику, мы побеждаем и будем побеждать и водим австрийцев в плен, как свиней. Но, братья-солдаты! Смотрите, вам придется сопровождать пленных; не вступайте с ними в разговоры: среди них есть шпионы и социалисты, которые будут говорить вам, что войны не нужно. Таких не слушайте, а передавайте их начальству".

Речь полковника пришлось намотать себе на ус: она дала пищу для беседы с солдатами в казарме, которые в своем большинстве и не слыхали, что такое социалист; однако, несмотря на свою темноту и безграмотность, солдаты хотели знать, кто же в конце концов виноват в том, что их оторвали от дома, семьи и послали зачем-то сюда в Галицию, и кто такие социалисты, которые против войны. Началась беседа, которая привела солдат к выводу, что война им не нужна и что социалисты, пожалуй, правы, отрицая ее. Что же касается пленных австрийцев, то им, пожалуй, сейчас лучше, чем русским солдатам, так как они возвратятся из русского плена домой невредимыми, между тем как русским солдатам неизвестно, что их ожидает впереди. „Ну что ж, — рассуждали солдаты, — их водят, как свиней, а нас, как гусей, что ли?... Полковнику надо же что-нибудь говорить, раз он получает хорошее жалованье, да еще сидит в тылу в лучших условиях, чем мы дома"... Таким путем приходилось вести агитацию среди солдат против войны. Вообще, чтобы не возвращаться больше к рядовому бойцу-солдату, скажу кратко: меньше всего солдат задумывался над тем, чтобы победить неприятельскую армию; он целиком был занят мыслью, как бы ускользнуть из опасного места, т.-е. с фронта, и к пленным не имел никакого иного чувства, кроме зависти.

Мне лично и на этот раз повезло: вместо того, чтобы быть простым конвоиром, по счастливой случайности, я был назначен ротным писарем, что считалось большим счастьем для солдата. Как писарю, мне прежде всего приходилось иметь дело с пленными при их приеме и подсчете. Первая партия пленных, которую пригнали к нам на этап, состояла из 15.000 австрийских солдат, взятых в плен в Перемышле. Среди них было много галичан, так называемых русин (украинцев). Они были очень довольны тем, что попали в плен именно в Россию. Многие из них добровольно вступали в русскую армию. Но, искренно расположенные к России, они быстро разочаровались, увидев русские порядки. Меня, как ротного писаря, загрузили ходатайствами пленных, которые просили разрешения у этапного коменданта побывать в близко расположенных от этапа своих деревнях, у родственников. В случае разрешения они были готовы вступить бойцами в русскую армию. Я им разъяснил, что никакой комендант о таких пустяках с ними говорить не будет, и потому легальным путем побывать им дома и повидаться с родственниками не

удастся; если они хотят побывать дома, им надо просто идти домой, кому близко, без всякого разрешения, так как мы здесь их не записываем по фамилиям, а считаем, как арбузы. „Какая вам разница, — говорил я им, — пойдете ли вы вглубь России с этой партией, с которой прибыли, или с другой? Идите домой, кому близко, но с условием: об этом широко не распространяться, а то будет плохо и для меня и для вас, если узнает высшее начальство". После такого совета к вечеру много пленных разбежалось по домам; на этапе произошел переполох, и после этого случая усилили надзор за военнопленными.

Много писалось в газетах тогда, как плохо живется русским военнопленным в Германии; по всей вероятности, им там, действительно, несладко жилось, но самый неразвитой солдат этим писаниям не верил, ибо и у себя в русской армии русскому солдату, помимо обычной тяжести военной службы, несладко жилось при палочной дисциплине. Солдат прекрасно знал, что правительство, раз оно ведет войну, не может писать, что в плену хорошо, потому что в таком случае вся армия без боя могла бы уйти в плен; солдаты, не видя никакого смысла в войне, вообще никаким газетам не верили и пачками переходили в плен при первой возможности: как австрийцы к русским, так и русские к австрийцам. Происходил в своем роде обмен народом.

Но как же у нас в России жилось пленным? Я не знаю про тех пленных, которые были водворены в глубоком тылу, не имел возможности это видеть; но те пленные, которые проходили через этап, разумеется, жили впроголодь, если не имели своих денег. Во-первых, порция им выдавалась меньшая, чем русским солдатам; во-вторых, их немилосердно обкрадывали на этапе. Что такое этап? Это был в своем роде воровской притон, где начальство заключало сделки с подрядчиками на доставку такого-то количества продуктов для пленных. На самом деле пленным доставляли половину продуктов; другую половину делили, чувствуя свою безнаказанность, между собой, в зависимости от занимаемого чина. И в результате пленный, если не имел своих денег, голодал, а всевозможные пиявки набивали себе карманы и кутили во-всю.

За все время моей писарской работы на этапе мне удалось познакомиться только с одним австрийским пленным, который был с.-д., но стоял на точке зрения обороны своей страны, т.-е. желал победы над Россией во что бы то ни стало, ибо, по его мнению, плохо будет культурной Германии и Австрии, если победит русский жандарм. Так во взглядах на войну мы не сошлись. На прощанье я ему сказал такой комплимент: „Если бы от меня зависело, то я бы собрал всех таких социалистов, как вы, которые стоят на точке зрения обороны своей страны, и заставил бы вас друг другу лбы разбивать, а сам бы от души похохотал над вами". — „Ну, что ж! — заявил мне австрийский с.-д., — Роесия — дикая страна, и у вас дикие социалисты". Так мы и расстались навсегда. С писарской должности я скоро слетел, так как своим характером не пришелся

ко двору: фельдфебелю нужен был другого типа человек, который умел бы помогать ему в обирании пленных и вообще кого бы то ни было.

В русской армии с начала войны было сильно развито мародерство. Много было таких солдат, которые продавали полученное обмундирование, являясь на этап голыми; их одевали, они опять продавали и на другой этап являлись голыми и т. д. Помимо этого, солдаты-мародеры забирали у галичан скот под видом реквизиции, выдавая им простые записки, за которые нигде ничего никто не платил. Таким путем довели завоеванный край до полного обнищания не в интересах армии, как таковой, а просто в интересах мародеров, которые посылали домой по 300—500 рублей, будучи рядовыми солдатами. Это было в 1915 г. С мародерством не велось никакой борьбы. Никто не интересовался вопросом, откуда солдат берет деньги для того, чтобы посылать домой по 300—500 руб.

А как поступали с еврейским населением Галиции? Например, полковник Барановский, начальник гарнизона, только и видел все зло в евреях; этот полковник вообще ничего не понимал ни в политике, ни в административных делах, ни тем более в военном деле. Вся его заслуга была лишь в том, что он состоял в „Союзе русского народа“. Ему было вполне достаточно, если русские солдаты-мародеры приведут к нему типичного старого еврея с пейсами и скажут, что это — шпион. Полковник без разбора приказывал пороть несчастного еврея розгами, а после розог сажал в тюрьму, где подобранное хулиганье совсем приканчивало несчастного еврея, будучи уверено, что это пройдет совершенно безнаказанно. На этой почве развелось такое мародерство: два солдата берут сапоги и несут их продавать какому-нибудь еврею. Еврей отказывается их покупать, так как запрещено покупать казенное имущество; тогда мародеры-продавцы грозят свести еврея к Барановскому. Зная, кто такой Барановский, еврей соглашается купить сапоги. Сейчас же к купившему сапоги приходит третий солдат, изображая из себя жандарма, и спрашивает: „Ты купил у солдат сапоги?“—„Да нет, никаких сапог я не покупал“, — оправдывается еврей. — „Ну, поведем его к Барановскому!“ Еврей, чтобы избавиться от грозящей опасности, отдает купленные сапоги, и все же его тащат вместе с сапогами и только тогда оставляют в покое, когда он, сверх этого, дает еще денег в виде откупа. Только таким путем еврей мог избежать кары со стороны полковника Барановского.

Но напрасно читатель стал бы думать, что на этом кончались проделки Барановского по части душения несчастного еврейского народа. Как-то в мае Барановским был отдан приказ вооружить 57-ю этапную роту палками и вообще холодным оружием и послать громить евреев в городе. Как я ни конспирировал, чтобы не раскрыть себя, как „неблагонадежного“, на этот раз всякое мое терпение лопнуло. Придя в казарму, я заявил взводному категорически, что я лично не пойду громить людей

только потому, что они — евреи; это вовсе не входит в обязанности солдата, а если Барановскому нужно устроить еврейский погром, то пусть он поищет для этой цели людей в „Союзе русского народа“. Для солдата я считаю позорным заниматься погромами ни в чем не повинных людей. Взводный, так как мы уже с ним сжились и он начинал меня понимать, вместо того, чтобы доложить высшему начальству, в результате чего мне, безусловно, влетело бы, разрешил мне лично скрыться из роты на время, пока кончится еврейский погром. Но на этот раз погром не состоялся: с одной стороны, состав роты для этой цели был не совсем подходящий, и солдаты тихонько роптали, что из них хотят сделать просто громил; с другой стороны, в это дело вмешался либеральничавший полковник Глен, заместитель начальника гарнизона, полковника Барановского.

Вообще по еврейским погромам можно было тогда судить о положении дел на фронте. Когда русская армия усиленно отступает, усиливаются еврейские погромы, точно в отместку за отступление. И, наоборот, при малейшем успехе русской армии еврейские погромы ослабевают, а то и совсем сходят к нулю. В тот момент, о котором идет речь, погромы усиливались с каждым днем, и в то же время газеты наши, напр. „Червонная Прикарпатская Русь“, не переставали трубить о несуществующих подвигах русской армии при взятии Карпат и Перемышля, хотя Перемышль был уже сдан неприятелю и с Карпат русская армия была оттеснена в три дня. Газетная болтовня и беспорядочное отступление русской армии усиливали еврейские погромы; создавался такой хаос, в котором разобраться рядовому солдату было чрезвычайно трудно. Дело шло к тому: „спасайся, кто может“. Так оно впоследствии и случилось. Без вооружения долго воевать нельзя, — это ясно было всякому солдату. Вследствие перечисленных выше причин дезертирство в армии росло не по дням, а по часам.

Мне как-то и на этот раз повезло: я заболел и попал в околоток. Болезнь — это отдых, и больным все завидовали. Полежав с неделю в околотке, я, по ходатайству врача, как не совсем здоровый, получил легкую службу. Заключалась она в охране ледника с продовольствием для солдат. По близости этого ледника мне была отведена отдельная комната у евреев. Два раза в день я открывал артельщику ледник, выдавал продукты, а остальное время у меня было свободно. Такая служба дала мне возможность регулярно следить за газетами и бывать во многих воинских частях, которых было немало в районе Равы-Русской. Этот район укреплялся, и ожидались большие бои.

Будучи сам солдатом, я невольно и незаметно для себя превратился в агитатора против войны. Солдат интересовал и не мог не интересовать вопрос: что такое война, во имя чего она ведется и кому она нужна, а главное, кто является виновником этой войны? В это время дошли до армий вести о немецком погроме в Москве, и, конечно, армия в целом, благодаря своей темноте, главными виновниками войны считала

немцев, которые пришли в Россию, позанимали лучшие места на фабриках, заводах и даже в армии, благодаря тому, что царица — немка; но этого немцам оказалось мало: они затеяли войну для того, чтобы победить Россию и окончательно завладеть ею. Так рассуждала армия в целом, и погромное настроение против немцев росло. Материала в армии для агитации против войны было более чем достаточно. Только агитаторов-большевиков, противников войны, можно было встретить тогда в армии очень мало. В армию попадали рядовые партийцы, и в такой пропорции, что они там были незаметны. При отступлении армии условия для агитации против войны всегда были благоприятны, во-первых, потому, что при отступлении офицеры вешают нос, режим слабеет и уважение к офицерскому мундиру отходит на задний план, и, во-вторых, потому, что само отступление и разложение, как его следствие, невольно шевелят солдатские мозги и заставляют искать выхода из создавшегося положения. В такое время один партийный агитатор в армии ценнее для партии целого партийного комитета в тылу. Даже некоторая часть офицерского состава армии, этого верного оплота царизма, начинала проявлять недовольство бессмысленной войной, в особенности недовольна была часть молодых офицеров.

В одну из воинских частей зашел на кухню офицер-прапорщик и затеял с солдатом разговор на тему о неудачах русской армии, которые происходят, по мнению прапорщика, оттого, что в русской армии есть много изменников, предателей, шпионов на высших командных постах, например Сухомлинов, военный министр, по вине которого армия осталась без снарядов, Мясоедов, который предал немцам целые корпуса, и т. д. Этого оратора-прапорщика сменяет кашевар, толстый флегматичный солдат, только что бросивший мешать лопатой кашу в котле, и говорит: „По-моему, коли уж начинать, так начинать с головы“ (т.-е. с самого царя Николая). „Какой это царь, который окружил себя ворами, жуликами и всякими мошенниками и пройдохами. Ясное дело, что этак мы войну проиграем“. Прапорщик, виновник невольного митинга, не знал, куда деваться. Пошел на попятный и удрал, так как ему бы не сдобровать, если бы высшее начальство услыхало такой разговор в присутствии офицера хотя бы и в чине прапорщика. Такое неоформленное брожение среди солдат росло с каждым днем.

Только казаки наружно держали себя устойчиво и старались быть преданными „царю и отечеству“, и потому с ними говорить нужно было осторожно. Казаки искони считались оплотом царизма; но, при наличии усовершенствованной артиллерии и воздушного флота, они были мало пригодны для войны. Зато по части грабежа и погромов казаки были незаменимы. И каждый раз при отступлении русской армии, в особенности там, где много было еврейского населения, казаки устраивали Варфоломеевскую ночь. Под видом еврейского погрома, что вообще считалось легальным и полезным делом, они сплошь и рядом

избивали и грабили мирное галицийское население, без различия национальностей. Участвовали в этом грязном предприятии не только казаки, но и солдаты. Все же банды погромщиков главным образом, создавались именно из казаков, на которых не действовали никакие доводы; солдат же удавалось неоднократно убеждением отклонять от этого преступного дела.

К концу мая — началу июня 1915 г. фронт стал приближаться вплотную к Раве-Русской. Войска отступали день и ночь в большом количестве. Пехота, артиллерия и все воинские части производили впечатление плохо вооруженных; да оно и на самом деле так было: в лучшем случае одна винтовка приходилась на двух солдат.

К роковому дню отступления из Равы-Русской создалось такое положение, что разобраться простому смертному в том, куда и откуда идут войска и передвигается обоз, было невозможно. Кругом пыль, дым от артиллерийской канонады, точно в аду. Беспорядочная стрельба из ружей по неприятельским аэропланам привела к изданию приказа по фронту о том, что тех солдат, которые будут стрелять по аэропланам из ружей, будут пороть розгами, так как ружейная стрельба по аэропланам, кроме создания паники, ни к каким результатам не приводила. Приказ возымел свое действие, и ружейная стрельба по аэропланам прекратилась. Снарядов же не было, и неприятельские аэропланы, чувствуя свою безнаказанность, летали совсем низко и, несомненно, узнавали обо всем хаосе, царившем в тылу армии.

Что в такие критические моменты для армии переживает солдат? Я не буду говорить о тех солдатах, которые не разбираются в том, что такое война, и кому она нужна. А Но я возьму солдата, нашего брата, партийца-большевика того времени. Напрасно бы стал думать читатель, что в такие критические минуты он только и думает... о партийной программе.

Ничего подобного он не думает и не в состоянии об этом думать. Он невольно, незаметно для самого себя, делается просто солдатом, видя бессилие армии и издевательство над этим бессилием со стороны неприятеля. Вместе с армией и он нервничает, возмущается тем, что бессилен что-либо сделать, и становится таким же воином, как и окружающие его, стреляет, колет, словом—делает все то, что делают и остальные солдаты. Совсем другое дело, когда партиец встречается с погромами и грабежами ни в чем не повинных мирных жителей: тут он всеми фибрами души, находясь в солдатской массе, протестует, насколько вообще можно, будучи солдатом, протестовать. Разумеется, этот протест дальше простых уговоров своих товарищей по несчастью не мог простираться, и погромы и грабежи мирного населения только слегка ослаблялись под влиянием такой агитации, но отнюдь не прекращались.

Но вот приезжают казаки в Раву-Русскую и начинают высматривать, где что плохо лежит. Население города, в особенности еврейское, в панике мечется из стороны в сторону, не

видя никакой возможности избежать погрома. Обращаются к тебе за советом, как бы уехать вглубь России, в глубокий тыл. Несчастный народ готов поехать хоть на край света, лишь бы избежать казацкой бани. Видя свое бессилие помочь чем-либо несчастным мирным жителям, начинаешь только нервничать и невольно избегаешь встречи с ними.

Но вот та еврейская семья, у которой была отведена мне комната, когда я охранял ледник с продуктами, просит меня непременно у нее ночевать в эту роковую ночь для евреев. Та воинская часть, в которой я служил, была приготовлена к отступлению из города, и ночевка моя у мирных граждан, да еще у евреев, могла бы иметь печальные для меня последствия, однако я согласился и остался ночевать в еврейском семействе, где меня угощали очень хорошо, и постель для меня устроили такую мягкую, на какой я никогда в жизни до этого не спал. Тем не менее, спать мне в эту ночь не пришлось.

Как только наступила ночь, в мою дверь раздался такой сильный стук, что стекла в окнах задрожали. „Открывай, жид пархатый“... Открываю. Казаки, увидев, что они имеют дело не с „жидом“, а с русским солдатом, оставили этот дом, где я ночевал, в покое. Это была ужасная Варфоломеевская ночь: с одной стороны, артиллерийская канонада, продолжавшаяся на фронте всю ночь, а с другой — во всем еврейском квартале города крик, стон, плач женщин и детей. Наутро квартал производил ужасное впечатление: столько было разграблено всякого добра и столько было убито и замучено невинных людей и даже детей только за то, что они имели несчастье принадлежать к еврейскому племени! Для меня стало ясно, почему меня так уговаривали остаться ночевать в этом семействе, которое, вследствие моего пребывания у них, уцелело от погрома. За это они мне были бесконечно благодарны и предлагали остаться у них, обещая спрятать меня в подвале до прихода австрийских войск: „а потом останешься в плену, и тебе будет хорошо“. Но я наотрез отказался от такого предложения. Оставив им на память солдатский мундир старого образца и фуражку без козырька, я ушел в свою часть.

6 июня 1915 года Рава-Русская была оставлена нашими войсками. Нечего и говорить, что отступление было самое беспорядочное. И сколько в этом хаотическом отступлении погибло всякого добра, и не только потому, что не успевали эвакуировать в тыл, а потому, что проворовавшееся интендантское чиновничество для сокрытия следов своего преступления жгло целые склады всякого добра, под предлогом того, чтобы оно не досталось неприятелю!

Воинские части выходили из боя совершенно разбитыми: от полка оставалось по 10—15 человек.

По всем данным, которые пришлось наблюдать собственными глазами, можно было сделать только один вывод, что мир не за горами, ибо русская армия разбита и дальше сражаться

неспособна. При такой мысли весело становилось на душе. Но, к сожалению, это только оставалось мечтой, так как война продолжалась, несмотря на ожидание мира солдатской массой.

VI. Опять в России.

С оттеснением русской армии из Галиции и перенесением военных действий на территорию России армия все еще продолжала отступать, но уже не в таком беспорядке, как это было в Галиции, потому ли, что это была русская территория, где мирное население лучше относилось к армии, чем в Галиции, и было более сытым, так как его не успели еще опустошить, или потому, что неприятельская армия устала и не могла так быстро двигаться вперед, как раньше. Не берусь утверждать ни того, ни другого. Но факт тот, что русская армия стала укрепляться и тверже стоять на своих позициях. Еврейские погромы тоже шли на убыль...

Отступление из Галиции совпало с отстранением Сухомлинова от должности военного министра и казнью Мясоедова.

В армии среди солдат ходили слухи, что теперь к власти будет приглашен Коковцев; его почему-то сравнивали с графом Витте, который заключил мир с Японией в 1905 г., и думали, что он, как умный человек, не может не заключить мира теперь, ибо продолжение войны после такого тяжелого поражения есть гибель для России и только враги России могут желать продолжения ее. Откуда такие слухи доходили до армии,—затрудняюсь сказать, но они доходили.

Все, однако, как-то само по себе улеглось, и имя Коковцева в армии сошло со сцены, а война продолжала свою разрушительную работу.

Солдаты меньше всего интересовались победами, их интересовал мир и только мир, а какой это будет мир: сепаратный, „похабный" или еще какой,—для них было все равно. В газетах, которые иногда попадали в руки солдат, последние читали только то, что так или иначе относились к вопросу о мире.

Игра в очко и гармоника процветали во-всю в армии. Занимались этим в лесу, во ржи и везде, где только можно было спрятаться от бдительного ока начальства.

Дезертирство все усиливалось с каждым днем, так как солдат уже устал и терял всякий воинский дух, который так необходим для армии во всякой войне. Все это привело к тому, что по армиям был издан секретный приказ верховного главнокомандующего пороть солдат розгами за дезертирство и прочее. Мало показалось палочной дисциплины, понадобились еще и розги.

Стали пороть солдат розгами за самый мельчайший проступок, напр. за самовольную отлучку из части на несколько часов, а иногда просто пороли для того, чтобы розгами поднять воинский дух. Но цели эта порка не достигала: наоборот,

дезертирство росло; в отдельных частях более либеральное начальство нелегально, под видом командировок, стало давать отпуска.

Ненависть к полиции и жандармерии в армии росла не по дням, а по часам. Я был свидетелем такого случая: в июне 1915 г. ехали солдаты в теплушке от станции Здолбуново до станции Шепетовка. Среди них оказались два жандарма, эвакуированных из Галиции. Эти два унтера, поседевшие на жандармской службе, затеяли между собой разговор о войне, который сводился к тому, что Россия не заключит мира с Германией до тех пор, пока русские войска не займут Берлина. В разговор вмешался солдат: „Ах, так вам нужен Берлин! Что вы думаете— в Берлине нет жандармов? Там есть почище вас. Вот пошли бы и попробовали брать Берлин, а то вы хотите чужими руками жар загребать, сидя на тыловой службе". Жандармы взяли солдата в переплет за такую дерзость: „Как ты смеешь в присутствии нас, жандармов, верных слуг царя, вести такой разговор! Это недостойно русского воина". Грозили на первой же остановке составить протокол, дав ему законный ход. Тогда взволновались все солдаты в теплушке: „Мало того, что мы терпим в своей среде дармоедов, так вы еще собираетесь протокол составлять на человека только потому, что он сказал правду. Прощайтесь с белым светом, мы вас, мерзавцев, на ходу выбросим в окошко". Но жандармы превратились в жалких телят, прося пощады. „Мы только пошутили; нам так же эта война надоела, и наши сыновья так же на войне, как и вы". Мне лично пришлось в данном случае защищать жандармов, убеждая солдат не совершать самосуда над людьми, от убийства которых ничего не может измениться. Послушались и оставили их в покое.

Беспорядочное отступление армии сменилось большим наплывом беженцев, которые, как цыгане, жили на поле, в лесу, терпя иногда бо́льшую нужду, чем солдаты.

Разбитые воинские части снова начали собирать для подготовки их к будущим боям. И наша этапная рота к началу августа оказалась в Житомире.

Несмотря на отступление русской армии, в плен попадало много австрийцев, и среди них немало чехо-словаков. Когда спросишь у пленных: „Ну, как там на позиции?", то получаешь такой ответ: „Добже, пане, мы едем сюда, ваши туда,— скоро будет спокой" (т.-е. мир)". По всему было видно, что ни неприятельская армия, ни наша не хотели этого взаимного бессмысленного истребления.

Воровство на этапе, как и во всех тыловых частях, продолжалось не в меньшей, а в большей степени, чем это было в Галиции. Конечно, это воровство было не такое упрощенное, как думали рядовые солдаты: они думали, что ворует фельдфебель, каптенармус. Разумеется, и это было; но это было такое мелкое воровство, о котором не стоило бы и говорить.

Этап, который снабжал продовольствием проходящие воинские части и пленных, имел целую воровскую машину. Заведую-

щий хозяйственной частью, не без ведома этапного коменданта, заключал сделки с подрядчиком, с поставщиком продовольствия на такую-то сумму, в то время как в действительности доставлялась другая, более урезанная доза... И так было во всех тыловых снабженческих частях, где поустраивались на службу сынки помещиков и вообще состоятельные люди с протекциями, которые не только не несли никаких убытков от войны, но и наживались на ней.

Всю тяжесть войны нес простой рядовой солдат.

Убыль в армии была настолько велика, что она никак не могла компенсироваться производившимися тогда мобилизациями ратников и допризывников. Поэтому последовал приказ о замене всех солдат моложе 35-летнего возраста, находящихся в тыловых частях, более зрелым возрастом из только что призванных ратников и о посылке первых для пополнения рядов убывших.

Люди, прослужившие более года в тылу и мечтавшие вернуться в скором времени к своим семьям невредимыми, приуныли. Перепись так называемой молодежи в тыловых частях состоялась; но пока до особого распоряжения все оставались на прежних местах. По истечении нескольких дней солдаты забыли о предстоящих новых испытаниях вроде сидения в сырых окопах осенью и зимой, и опять пошло по-прежнему, как будто ничего и не случилось. Такова уж психология человека. Только усиленно стали отлучаться из роты по домам, пользуясь той или иной командировкой.

Попробую, думаю, и я съездить в Петроград повидаться с близкими людьми и вообще посмотреть, что делается в тылу. Добиваюсь за два рубля, которые я дал писарю, дутой командировки в Киев, якобы сопровождать 11 человек отсталых солдат на киевский этап. Вообще один человек не может сопровождать в качестве конвоира 11 человек, но мне поручили их сопровождать, и всех я доставил в целости: очевидно, им из Киева было удобнее поехать домой так же, как и мне в Питер.

При мне, когда я сдавал приехавших со мной 11 чел., попросили к телефону этапного коменданта города Киева. Его вызывал начальник гарнизона. Из ответов этапного коменданта можно было заключить, что между ними шел разговор о формировании маршевых рот, ибо комендант отвечал по телефону: „Да, в Киеве по улицам города много шляется солдат, а маршевых рот не из кого составлять. Не могу же я ходить по улицам и ловить за шиворот солдат".

Ловлей солдат по улицам занимался комендант города, генерал Медер, сволочь из сволочей, которого знала вся армия, проходившая через Киев.

Разговор этапного коменданта с начальником гарнизона о дезертирстве еще больше укрепил меня в решении сдезертировать, хотя бы на время. 6 лет, как я уехал из Петербурга: хочется каким-нибудь путем пробраться туда, в теперешний Петроград. Мечты, планы, один фантастичнее другого. Но все они упираются

в один проклятый вопрос... Нет „ни копья“ денег, арестуют по дороге, попадешь в такое место, что не сумеешь дать о себе сведений, не на что будет написать даже письмо тому, с кем не хочется порывать связей. О пропитании уже и не думаешь: суток двое можно в дороге пробыть и без него.

Вспомнил кстати: в Киеве есть один знакомый, перед войной на одном заводе работали; он ликвидатор, а стало быть, и оборонец; токарь по профессии, он, очевидно, на снарядах хорошо зарабатывает и, как оборонец, к солдату, несомненно, отнесется сочувственно. Получив справку в адресном столе о месте его жительства, направляюсь к нему на квартиру, но его не оказалось дома. Пришлось подождать. Наконец, приходит долгожданный избавитель.

То, что он оборонял самого себя, из наших бесед с ним подтвердилось, но о деньгах не пришлось говорить; он себя так повел, что о таких пустяках, как деньги, язык и не поворачивался что-либо сказать: он как раз устраивал в это время свой переход с одного завода на другой, где можно было больше заработать, и поэтому я ушел, не получив от него даже предложения переночевать. Такова была последовательность у людей, которые называли себя оборонцами.

Денег, значит, нет, и надежды достать их тоже нет никакой, а поехать в Питер хочется.

Иду на вокзал, располагаюсь в 3-м классе на ночлег, за ночь вопрос можно будет вырешить — еду я или возращаюсь в свою часть. Совсем неожиданно попадается на глаза товарищ по несчастью, солдат из одной роты со мной, также киевский рабочий. Побывав в Киеве у родных, возвращается в часть, слегка пошатывается, видно, подвыпивши. „Ты что здесь околачиваешься?“ — говорит он мне. — „Да так, вот хотел бы поехать в Петроград, да дело за пустяками: нет денег ни копья“. — „Ну, это дело поправимое. Сколько тебе нужно денег?“ — „Да так рубля два“. Дает мне 2 рубля и говорит: „Поезжай в Петроград и привози оттуда новости, скоро ли кончится война. Какого чорта ты до сих пор не ездил?“ — „А когда же я тебе отдам долг: вдруг я дорогой засыплюсь, и мы больше не встретимся?“ — „Ну, чепуха! Об этаких пустяках еще размышлять: гора с горой не сходятся, а человек с человеком сойдутся“.

Значит, дело в шляпе, я еду в Петроград, только бы залезть в вагон поезда прямого сообщения. Ждать нужно этого поезда еще целые сутки. Наконец, поезд пришел. Беру винтовку за спину, изображая из себя солдата, которого послали на вокзал для ловли дезертиров. Раз винтовка за спиной, — значит, не дезертир.

В какой вагон, думаю, залезть, чтобы были смешанные пассажиры, штатские с военными? Залезаю в первый попавшийся; оказывается, плацкартный вагон. Значит, хорошо, залезу под лавку и лягу спать. После двух бессонных ночей так и сделал. Не успел задремать, кто-то говорит: „А ну-ка, пассажиры, при-

встаньте! Кто там у вас под лавкой?"—„Да там солдат",—говорят пассажиры. Оказывается, это был контролер, пришедший проверять билеты. „А ну-ка, вылезай! посмотрим, что это за солдат". Ну, думаю, приехал,—кончено; куда-то, наверное, потарабанят. Но так как в моем документе было указано, что я сопровождал в Киев 11 чел. солдат, а из Киева возвращаюсь в свою часть, а где эта часть, в документе ничего не говорится, то контролер, повертев и посмотрев со всех сторон документ, вернул мне его и любезно сказал: „Да что же ты, солдатик, лежишь под лавкой? Вы достаточно там, в окопах, валялись. Было бы позором для тыла, чтобы солдат, едущий по делам службы, валялся где-нибудь и как попало под лавкой. Полезай на полку, на самое лучшее!" И так настойчиво потребовал от меня, чтобы я занял лучшее место в вагоне, что пришлось ему подчиниться.

Улегся как будто бы прилично, но не спится: а вдруг комендант станции с жандармом пойдут проверять? Ведь эти бестии по моему документу могут разобраться в том, где стоит моя часть, и что из Киева ехать в Житомир надо не через Петроград, и, несомненно, арестуют. Но, к счастью, скоро после Киева вагон так переполнился, главным образом беженцами, что о лежании на полке не могло быть и речи. Но зато легко было маскироваться: беженцев и вообще штатских проверял кондуктор,—я тогда надевал гимнастерку с погонами, и меня не трогали, как солдата; когда же приходил комендант с жандармом проверять солдат, я снимал гимнастерку, клал на пол винтовку, садился без фуражки посреди беженцев, и тут меня тоже не трогали, принимая за беженца. Даже в Могилеве, где стоял штаб главнокомандующего и где делалась более тщательная проверка солдат, мне удалось ускользнуть от этой проверки. И так я доехал в Петроград без всяких осложнений.

Петроград мало отличался от Киева: также было много солдат, и близость фронта не менее чувствовалась, чем в Киеве; только когда попадешь в рабочий квартал, вспоминается прежний Петербург.

После трехдневного пребывания в Петрограде дело с ночевкой стало осложняться: обыватели боялись, чтобы им не попало, если в квартире найдут беглого солдата. Несмотря на то, что у меня было достаточно друзей, вопрос с ночевкой обстоял скверно, так как каждый из них был уже заподозрен в политической неблагонадежности.

В рабочих кварталах жизнь кипела, шли выборы в военно-промышленные комитеты, которые большевики бойкотировали. Я был на одном из таких собраний на заводе Эриксон на Выборгской стороне, где впервые познакомился с Гвоздевым, бывшим впоследствии министром труда в кабинете Керенского. Гвоздев производил впечатление очень умного, толкового рабочего-меньшевика, ратующего за военно-промышленные комитеты. Молодежь на заводе была настроена большевистски.

В каком положении была в это время партийная организация,—сказать не могу. Но что партия прислушивалась к голосу

солдатских масс,—служит доказательством то, что представитель Петерб. К-та РСДРП (большевиков) приходил ко мне спрашивать о положении дел в действующей армии, и мы обменялись взаимной информацией. Только этот товарищ произвел на меня впечатление слишком наивного человека. Он никакого понятия не имел ни о структуре армии, ни о ее быте, и, само собой разумеется, подойти к солдатам в качестве агитатора такому товарищу было трудно. Когда я после его ухода дал о нем свою характеристику, то мне предлагали остаться работать в Петербурге. Но остаться мне не пришлось, ибо обстоятельства сложились так, что мне буквально негде было ночевать и не на что жить. Я решил не обременять больше товарищей, которым пришлось давать мне средства на жизнь, и уехал обратно из Петрограда.

Проехал из Петрограда в Киев тем же путем вполне благополучно. А из Киева в Житомир я ехал уже вполне легально. К моему приезду в часть прислали нам на смену солдат более пожилого возраста, а нас, в том числе и меня, приготовили к отправке в маршевый батальон для пополнения рядов убывших. Моя самовольная отлучка оказалась незамеченной, и я приехал вовремя. Но мысль о побеге из этого маршевого батальона меня не покидала. Я воспользовался дежурством в канцелярии этапа в качестве вестового и перед уходом запасся необходимыми документами на случай побега.

VII. Маршевые роты для пополнения рядов.

Итак, в первых числах октября нас всех, так называемую молодежь, сняли с этапа и отправили в 15-й маршевый батальон, который стоял в Житомире в лагерях, в нескольких верстах от города, для прохождения вновь военной подготовки в течение одного месяца, чтобы потом послать нас в окопы для пополнения рядов убывших.

В летних лагерях, куда нас прислали из этапа, оказалось очень холодно, и нас перевели из одного района пригородной местности в противоположную часть города на летние дачи, так как в городе в зимних казармах мест нехватало. Дачи эти оказались без стекол, и сквозной ветер продувал насквозь, к тому же дачи были переполнены людьми, как бочка сельдями. Все это привело к тому, что почти все солдаты переболели бронхитом.

К больным было отношение прямо нечеловеческое. Каждого, кто только заявлял себя больным и просился в околоток к врачу, в насмешку называли околоточным. В каждом из больных видели симулянта: симулянтов, несомненно, было много. Да могло ли быть иначе при таких тяжелых условиях жизни, когда полные сил, здоровые люди лишены каких бы то ни было жизненных благ? Естественно, что они старались так или иначе увильнуть от воен-

ной службы. Но нельзя же было всех поголовно зачислять в симулянтов. А дело именно дошло до этого. Желающих итти в околоток записывали вечером накануне и, разбудив поздно ночью, вели тотчас же в околоток, куда врач приходил не раньше 10 часов утра. Настоящего медицинского осмотра не производилось и не могло производиться, так как больных было много, а врачей мало. Просиживая на холоде, пропускали не только утренний чай, но часто и обед. Случалось, что врач предписывал поставить солдата на 10 часов под винтовку, если находил его здоровым. Ошибок в таком поверхностном осмотре, конечно, было много. Обращалось внимание только на венерические болезни, а все остальное считалось чепухой. Если солдат не свалился и мог ходить, то его считали здоровым.

Да вообще, что такое маршевый батальон? В нем было 16 рот, 17-я нестроевая. В каждой роте было по 600—700 человек. Набирали туда людей, уже по году прослуживших, вкрапляли молодежь досрочного призыва и отдавали их на съедение вновь испеченным офицерам-прапорщикам, мальчишкам 20—22-летнего возраста, которые еще не видели жизни и по глупости и молодости находились под влиянием взрослого начальства. Они так издевались над взрослыми людьми, что было обидно, тяжело, и невольно вырывались слова: „Однако, какие же мы дураки! В наших руках оружие, а мы позволяем себя мучить! Кому? Мальчишкам!“. Доходило и до мордобития: какой-нибудь сопляк, прапорщик-мальчишка, бьет взрослого дядю. В особенности один из прапорщиков усердствовал по части мордобития и в то же время произносил такого рода речи: „В 1905 году была в России революция, социалисты думали свергнуть царя-батюшку и тем самым ослабили Россию, которая теперь терпит поражения. Но в конце концов мы, русские, все-таки победим Германию. У царя-батюшки есть достаточно слуг, например таких, как я. Мы сумеем расправиться с теми, кто посмеет мечтать о повторении революции 1905 г. Да, кажется, и социалисты теперь поумнели, потому что поняли, что Россию-матушку надо защищать от проклятого немца, который хочет поработить русский народ. Так что вы, мерзавцы, такие-рассякие, намотайте себе на ус, что я говорю“. Речь получалась вполне округленная, как и подобает офицеру. Такие речи были, впрочем, очень полезны, потому что они наводили солдат на размышление, кто ж они такие, социалисты, которых ругает этот драчун.

Как-то и мне пришлось выдержать атаку этого прапорщика. Я был в его взводе. За неправильный поворот в строю он меня заставил держать винтовку на вытяжку. Я держал, пока мог; винтовка упала, и я ее взял к ноге. Прапорщик, подскочив ко мне, зарычал: „Ах, так! Значит, на начальство оружие поднимаешь?..“. Но не ударил, очевидно, увидев, что перед ним не только солдат, но и человек. В этот момент, действительно, я чувствовал себя человеком, а таких все-таки побаивались бить, как скотину: немножко разбирались и офицеры в людях. Скоро

мне пришлось поскандалить с каптенармусом при выдаче обмундирования; он обругал меня, и я ответил ему тем же. Кончилось тем, что из-под винтовки я не выходил.

Вечером после занятий—под винтовку на 2 часа. Что это значит „под винтовку"? А вот что: кроме винтовки, на плече, по бокам повешены две сумки с кирпичами, и нужно стоять, как истукан, на одном месте 2 часа после ужина, когда все спят. Либо ночью разбудят тебя и заставят вне очереди стоять на посту дневальным до утра, а утром на занятия, — и так каждый день. Вот что значит попасть в немилость к такому маленькому начальству, как прапорщик: если он тебя не решался бить, так другим путем донимает. Однажды этот прапорщик вызвал меня к себе и спрашивает: „Ты где работал до войны?"— „Там-то, в таком-то городе". — „Да, это видно, что ты человек не деревенский", а затем говорит следующее: „Ты не хуже других солдат, но ты мог бы быть лучше, только не хочешь; ты думаешь, что попал на военную службу в качестве рядового, так и пропал; а это еще вопрос, кто из нас скорее пропадет: я, офицер, или ты, рядовой. Ты манкируешь службой, — это я вижу, и если так будешь делать дальше, то будет плохо и кончится печально для тебя, а будешь стараться, то и от службы могу освободить". Ну, думаю, не велика шишка—прапорщик: не только меня, а и самого себя не сумеешь освободить от службы. А вот что касается манкирования службой, то ты прав: люди, зараженные социализмом, попавши на службу в царскую армию, действительно манкировали ею. Да иначе быть не могло, так как их учили всевозможные прапорщики, фельдфебеля и пр., что социалисты — это и есть внутренние враги, которых надо уничтожать беспощадно, хотя сами учителя в большинстве случаев не понимали, что такое социализм.

Режим в нашем батальоне, как и во всей армии, становился все строже и строже, и вместе с тем дезертирство солдат все росло и росло. Дошло до того, что стали пороть розгами и в нашем батальоне. И кого же пороли? Главным образом самых темных, забитых нуждой и невежеством людей. Со мной служил еще до маршевого батальона, на этапе, в течение 8 месяцев солдат по фамилии Рог. Этот Рог, человек неграмотный, занимался ломовым промыслом до войны в Киевской губернии. Здоровый и неповоротливый, как вол. Войну объяснял, как божье наказание для человечества. При его воловьей силе и тупости втолковывать ему другие, более разумные мысли было бесполезно. Однажды мы, солдаты, свели в цирк нашего Рога, где он был впервые в жизни. Он обратил больше всего внимания на наездницу. После цирка в казарме рассказы Рога о том, как он все это переварил были для нас интереснее цирковых номеров. Он никак не хотел верить, чтобы женщина так могла ездить на лошади. Это, дескать, лишь пыль пускают в глаза дуракам, лишь бы деньги выманивать. Просто бока надрывали от хохота, слушая этого солдата. Целую ночь мы не спали, так заинтересовал он нас

своими рассказами. К утру, как раз к тому времени, когда подают чай, а к чаю нужны белые булки, он пришел к выводу, что зря отдал 30 коп. за посещение цирка, лучше бы эти деньги истратить на булки. И только дураки или люди, которым некуда девать деньги, ходят в такие места, как цирк. Человек вообще был он безобидный,—его можно было гнать куда угодно, и он шел безропотно, как вол, хотя в ногу никак не мог научиться ходить. И вот этот самый Рог как-то договорился со своим непосредственным начальником, со взводным, и тот разрешил ему отлучиться на три дня к жене, но Рог пробыл больше трех дней. Взводный, боясь, чтобы ему не попало от высшего начальства за покрытие дезертирства, доложил ротному о самовольной отлучке Рога. Но Рог прибыл в часть с небольшим опозданием, и ротный командир за самовольную отлучку поставил его на 10 дней под винтовку. Под винтовкой он отстоял, но отказался взводному уплатить обещанные 3 рубля: „Раз ты доложил, и я отстоял под винтовкой, то я трех рублей тебе не дам". Тогда взводный, чтобы отомстить Рогу, донес на него, что он подстрекает солдат к дезертирству. Дело дошло до командира батальона, который отдал распоряжение в приказе всыпать этому агитатору 25 розог. Осмотрел его врач и нашел, что он вполне выдержит розги. Утром следующего дня выстроили весь батальон и предложили желающим добровольно выпороть этого солдата розгами, но желающих не оказалось. Пока длилась эта подготовительная процедура, пришлось отказаться от розог, так как на обреченного, несмотря на его тупость и неразвитость, все это так сильно подействовало, что он упал, и изо рта пошла пена; его снесли в околоток, где он пролежал без памяти три дня. После этого с ним стали часто повторяться аналогичные случаи. Здорового человека и безвредного для какого бы то ни было политического строя превратили ни за что, ни про что в инвалида.

После этого случая режим у нас сразу стал слабее. Посменяли прежних офицеров, прислали других, стали переписывать мастеровых. Мне, между прочим, было предложено пойти в школу прапорщиков, а когда я заявил, что у меня нет необходимого для этого образования, мне не поверили. Режим стал мягким. Но ни у кого из нас не было склонности эту благоприятную перемену объяснять тем, что на начальство подействовал случай с несчастным Рогом. Обыкновенно перед отправлением на позиции режим слабел. Во всех маршевых батальонах сменяли прежних офицеров и присылали других. Делалось это потому, что было опасно посылать с солдатами тех офицеров, которые их достаточно помучили в тылу. Так и случилось: последовал приказ, чтобы батальон, который превращается в полк, был приведен в полную боевую исправность, так как через три дня он должен выступить в походном порядке из Житомира в Винницу. Это было в первых числах ноября 1915 года. В два дня нас привели в боевую готовность, выдали все шанцевые инструменты, которые полага-

лись пехотному солдату. Нагрузили, как ослов, и изволь-ка двигаться 120 верст в такую слякоть, когда шел дождь и снег.

Услужающий перед высшим начальством взводный зазывает меня к себе и говорит: „Ты плохо выглядишь последнее время: тебя много помучили разными неожиданностями, военная служба плохо действует на тебя, и если ты устанешь, то отдай кому-нибудь винтовку, а сам иди в деревню отдохнуть, придешь на несколько дней позже, — не беда. Только другим солдатам не говори об этом, а то они все разбегутся. Я надеюсь, что ты меня не подведешь". Я благополучно дошел до Бердичева, где нас встретил командующий юго-западным фронтом Иванов. Полк наш прошел мимо командующего с музыкой и произвел на него очень хорошее впечатление. „С такими молодцами можно пройти до Берлина",—писал Иванов в приказе по фронту, и выдали нам по фунту белого хлеба и по полфунта чайной колбасы на человека. А эти молодцы только и думали, как бы при первой возможности сдаться в плен; итти же на Берлин ни у кого, кроме Иванова, желания не было.

Пройдя Бердичев, я настолько устал, что дальше без основательного отдыха, хотя бы и не было разрешения взводного, я итти уже не мог. Подговариваю одного из товарищей, и мы сдаем винтовки и заходим в первую попавшуюся деревню. Зашли к одному крестьянину, который оказался бывалым человеком: был на японской войне, работал в различных городах на фабриках и заводах и даже был в Америке, человек вполне сознательный. Он нас принял совсем тепло, подкормил, мы переночевали в тепле, и настроение стало другое. В следующей деревне нагнали свою часть. Все оказались усталыми и тоже отдыхали на земляном полу в деревенских хатах, хуже, чем мы с товарищем. Дальше мы с товарищем позволили себе опять роскошь и вновь отстали, и так ходили по деревне, свободно, без команды. В деревне было почти полное отсутствие мужчин среднего возраста. Как идут военные действия, и кто победит в этой войне,—никто в деревне не интересуется, но все спрашивают, когда же будет мир; а женщины, в особенности старухи, спрашивают, „не видел ли моего Ивана, Степана" и т. д.

Но и начальство оказалось предусмотрительным: по деревне были разосланы офицеры с небольшими отрядами задерживать бродячих солдат. Мы тоже оказались в числе задержанных, и нас поездом отправили в Винницу. Мы явились в часть без всякого опоздания. Путешествие наше по деревням прошло благополучно.

Из нашего батальона умерло 6 солдат по дороге из Житомира. Люди усталые, измученные походом, засыпают там, где их застигнет ночь, и иногда умирают, не проснувшись, и больше всего умирают как раз молодые, менее закаленные. Многие попали в госпиталь. По прибытии нас разместили в артиллерийских казармах, немного дали отдохнуть и после отдыха задержали в Виннице по стратегическим соображениям на неопре-

деленное время. И мы попрежнему начали месить грязь на огородах Винницы,—это называлось военной учебой.

Дезертирство с каждым днем все усиливалось и усиливалось, и удирали-то, главным образом, не в тыл, а в окопы, на позицию бывавшие уже в окопах солдаты. Можно себе представить, что была за жизнь в таких батальонах, откуда удирали в окопы. Дошло дело до того, что в шинели не выпускали из казармы. Стали убегать тогда, когда приходила очередь дневалить.

Как-то я задался серьезно мыслью убежать, но не в окопы, а в тыл, в Петроград. Сговорились бежать вдвоем; у меня были приготовлены документы, конечно подложные, для проезда по железной дороге (я ими запасся еще на этапе на всякий случай). Но мой компаньон почему-то струсил перед самым побегом и отказался, а я тоже один не решился, так как проездные документы были приготовлены для двоих, и потому отложил побег до более благоприятного случая.

Армия, судя по нашему батальону, прогрессировала в своем разложении, и это можно сказать про всю армию, ибо наш батальон не был исключением. Низшее начальство уж стало даже смотреть спустя рукава на массовое дезертирство солдат.

Все поголовно интересовались только миром. Фельдфебеля, взводные часто зазывали меня к себе побеседовать о мире. Хроникерские газетные заметки в виде толков о мире давали пищу для таких бесед. Кто победит и какой будет мир,—это меньше всего интересовало армию: ей нужен был мир во что бы то ни стало, ибо она устала от войны.

Однажды на стрельбище случайно встречаю я того самого прапорщика, который бил солдат в Житомире, доказывая им свой патриотизм и таким путем проповедуя войну до победы. Остановив меня, он стал спрашивать, как дела, и просил зайти к нему на квартиру побеседовать. На его лице можно было заметить происшедшую в нем перемену.

От прежнего патриота ничего не осталось, кроме офицерских погон. Зная его по Житомиру, я, однако, не питал к нему доверия и потому не пошел к нему. Количество прапорщиков, которые начинали откровенничать с солдатами и говорить, что им война уже надоела, стало увеличиваться, а что касается нижних чинов, то в нашем батальоне много было запасных, рабочих из Петербурга и других городов, участвовавших в революции 1905 г. По вечерам в казарме мы открыто между собой вели бесконечные дискуссии на тему о войне. Низшее начальство не только не препятствовало нашим дискуссиям, но и само иногда принимало участие в них.

Между тем, опять последовал приказ такого же содержания, как и в Житомире перед отправлением в Винницу, т.-е. что наш батальон превращается в полк, и мы вступаем в бой в ближайшие дни. Опять смотры, обмундирование, и через 3 дня мы были приведены в полную боевую единицу, как полк. Дезертирство

с этим приказом еще более усилилось. Вместе с тем усилились разговоры среди солдат, каким путем перейти в плен.

Меня и еще несколько человек откомандировали в штаб 7-й армии, как печатников, для работы в типографии, а полк ушел в бой в первых числах января 1916 года.

VIII. Работа в штабной типографии.

О типографии пока много распространяться не буду: к ней мне придется вернуться в следующих главах, ибо типография сыграла важную роль после Февральской революции.

На второй же день моей работы в типографии мне пришлось „съесть“ сильную пощечину от офицера, командира ординарческого эскадрона штаба армии, капитана Шевцова. Это был здоровый детина, с усами, как у Вильгельма. Ходил он в жандармской форме.

Дело было так: я зашел в офицерскую уборную, так как для солдат не было уборной. Шевцов накрыл меня на месте преступления и дал мне такую сильную пощечину, что из глаз искры посыпались. Тяжело было мириться с таким унизительным оскорблением, но выхода другого не было. Рядовому жаловаться на офицера было бессмысленно: все равно тебя же и обвинят.

Рабочих в типографии было около 50 чел., но постепенно типография все расширялась. Работать приходилось неограниченное количество часов до введения второй смены, когда мы работали уже не круглые сутки, а по 12 часов. Работы было много, в особенности перед наступлением.

Работа в типографии была особенно тяжела при передвижении штаба.

Между прочим, в штабе 7-й армии зимой 1916 г. работал в контр-разведке один полковник (фамилия мне неизвестна). Работал он днем и ночью, был очень серьезен, задумчив. Когда поступала его работа к нам в печать, то тут уже было не до сна. Он грозил расстрелом, если работа не будет выполнена во-время. Его вид подтверждал, что он не любит играть словами. Работал сам много и от других требовал того же. За аккуратное и быстрое выполнение его работ мы, печатники, получили по 8 рублей наградных. А этот полковник за успешный брусиловский прорыв под Бучачем, у реки Стрыпы, в мае 1916 г. получил генерала. Когда впоследствии мы рассматривали карты, которые мы печатали, в той местности, где шли бои, то оказалось, что этот полковник имел точные сведения о расположении неприятельской армии, и генерала он получил не зря, что очень редко бывало в царской армии.

Обычно через 24 часа по прибытии на новое место типография уже была установлена так, что производила впечатление, будто она там давно работает. Надо было собрать, запаковать и помнить каждый винтик от машины. После такой работы

уснешь в одном месте, а проснешься в другом. Несмотря на всю трудность работы, все же в типографии тебя окружала лучшая атмосфера, чем в строю: над тобой так не глумились, как в строевых частях, и за жизнью можно было следить, так как к нам попадали газеты, хотя и черносотенного направления. Да и по приказам, которые мы печатали, можно было знать о все растущем разложении армии. Розог уже оказывалось мало: ссылали на каторжные работы за дезертирство, а то и просто расстреливали.

Когда штаб стоял в австрийском городе Гусятине, мне удалось выписать из Петербурга газету „День". Газету выписывать рядовому солдату на свое имя в царской армии не полагалось. Она была выписана на имя одного австрийского студента, застрявшего в Гусятине. Он, как инвалид, был освобожден от военной службы, однако урядник стал задерживать газету, и студент ничего не мог с ним сделать, как подданный завоеванной местности, и просил меня не ходить к уряднику; но я пошел и спросил: „Газету вы получаете на имя Шахновича?" — „Да, получаю". „А почему не передаете Шахновичу?" — „Ишь какой граф твой Шахнович: еще вздумал газеты выписывать из Питера". — „Хорошо, господин урядник, я тут ни при чем: я просто, как денщик врача штаба; врач меня посылает к Шахновичу за газетой, и если вы ее будете задерживать, то будете иметь дело не со мной и не с Шахновичем, а с врачом". Как услыхал урядник имя врача штаба, которого он знал хорошо, тотчас же выдал мне газеты, и с тех пор газета получалась без всякой задержки. Врача штаба все боялись, так как он бил солдат, в особенности, если солдат заболеет венерическими болезнями и обратится к нему. Первый рецепт заключался в том, чтобы нанести несколько пощечин солдату. Урядник это великолепно знал, и чин урядника нисколько не защитил бы его от побоев врача. Шахнович был в восторге от результатов моих переговоров с урядником. Шахнович был с.-д., он был студентом венского университета и случайно оказался, будучи на каникулах в Гусятине, отрезанным от Вены. С ним мы часто толковали о том, что будет после войны и скоро ли она кончится. Шахнович был того мнения, что война кончится тогда, когда войска откажутся воевать.

Но нашелся в штабе чертежник, который донес топографу-капитану о том, что Пирейко читает „жидовские" газеты.

Капитан, однако, оказался более либеральным, чем можно было ожидать, и не только не послушался чертежника и не прогнал меня из типографии, но устыдил еще чертежника, предупредив его больше таких доносов ему не делать и грозя в противном случае выгнать его вон из штаба.

Наши печатники в общем были вполне сознательными и надежными людьми, но было и несколько подлиз, с которыми опасно было откровенничать. Сторонников „войны до победы" среди нас не было уже по одному тому, что мы были солдаты. В общем жили дружно и весело. Были среди нас и певцы, и музыканты, и время проходило весело. Чтобы охарактеризо-

вать стремление солдат к миру, я приведу такой случай: однажды в штабной офицерской столовой заболел лакей; это было еще тогда, когда штаб стоял в Гусятине в 1916 г., и выполнять обязанности лакея прислали самокатчика, слесаря по профессии. В этой столовой даже офицеры не смели садиться, пока не придет генерал и не сядет. Собрались офицеры на ужин. Лакей-самокатчик оказался пьян. Вместо того, чтобы подавать ужин, он схватил наган и закричал на офицеров: „Вон отсюда, дармоеды! Всю Россию проели". Офицеры обычно в столовую ходили без оружия, и потому все разбежались. Этого лакея-самокатчика, разумеется, арестовали, но не расстреляли, так как за него вступился дежурный генерал, лично знавший его. Он послал его в виде наказания на передовую линию, в окопы. Дело, конечно, не в том, куда послали и как наказали этого солдата, а в том, что армия в целом была пропитана ненавистью ко всему окружающему и, прежде всего, к командному составу, в особенности к тыловым офицерам, которые жили хорошо, пользовались всеми благами жизни, в то время как солдат, кроме лишений, ничего не имел. Эта ненависть не могла не вылиться наружу. Правда, для этого надо было одурманить себя алкоголем, и не случайно то, что правительство прикрыло продажу вина во время войны.

Однажды и мной овладела ненависть, против которой я не мог устоять. Когда наша типография стояла в имении Трещебуковцы, недалеко от Бучача, я с товарищем жил на частной квартире в халупе (так там называют избу, хату) у галичан.

Придя раз ночью домой раньше обычного времени (в эту ночь работы не было), слышу: кто-то на моей постели кряхтит. Спрашиваю: „Кто тут поселился?". Слышу мужской голос: „Приезжие!" Зажигаю лампу, смотрю: на моей кровати лежит с полуголой женщиной мужчина средних лет, не похожий ни на солдата, ни на казака,—он оказался интендантским чиновником. „Как вы сюда попали? Спрашивали ли у хозяйки квартиры о том, живут ли здесь солдаты или нет, и что она вам сказала?" — „Да, спрашивали; она нам сказала, что тут есть два солдата, спят на этой кровати, но сказала, что вы придете в 6 часов утра, и мы к этому времени уехали бы". Чиновник состроил ехидную рожу и стал посмеиваться надо мной. Я представил всю эту картину: стало так досадно смотреть на человека, который, вместо снабжения армии, бродяжничает по солдатским квартирам с продажной женщиной. Нанес я ему такую сильную пощечину, что чиновник не устоял и упал на стул, а женщина испугалась и выбежала на улицу.

Это был первый случай в моей жизни, когда я подрался.

IX. Канун Февральской революции 1917 года.

Брусиловский прорыв в Галиции 1916 года несколько окрылил надежды части русской армии, мечтавшей о дальнейших победах, и разложение армии и дезертирство несколько уменьшились.

Но все это был паллиатив: война далеко зашла, и, судя по газетным сведениям, конца ей не было видно. Газеты писали тогда, что такого сильного врага, как Германия, можно взять не силой оружия, но временем, выдержкой и русской выносливостью.

Так или иначе, все это до армии доходило, и вот этой-то самой выносливости и терпению русского солдата наступал конец. Тяжело было, в особенности для нашего брата, рядового партийца-рабочего, попавшего в армию. Временами казалось, что не видно ни одной светлой точки на горизонте. В особенности было тяжело читать статьи Г. В. Плеханова в буржуазных газетах. Если сравнивать его статьи с речами председателя Государственной Думы, крупного помещика Родзянко, то по существу разницы никакой не было,—и тот и другой говорили: война до победного конца!

Что говорили и делали в это время большевики во главе с тов. Лениным,—до армии совсем не доходило. Но о выступлении Карла Либкнехта 1 мая 1916 года в Берлине в армии было известно, об этом трубили русские газеты во-всю, называли его героем, разумеется, постольку, поскольку нужно было обезвредить Германию. Мы, солдаты, оторванные от всякой общественной жизни, предоставленные самим себе, беседуя между собой, приходили к выводу, беря в пример Г. В. Плеханова, что все великие люди в конце концов отстают от жизни и не понимают того, с кем они собираются прийти в царство социализма. В самом деле, какой-нибудь интеллигент, находясь в тылу, в более или менее сносных условиях, мог еще философствовать о том, какая из двух борющихся империалистических коалиций больше виновата в этом взаимном истреблении пролетариата и вообще трудящихся. Но русскому пролетарию, знакомому с казацкой плетью, городовым и тюрьмой, было не до рассуждений, в особенности если он еще очутился в армии, где вообще личности рядового солдата, как человека, никто не признавал.

Оборонцев-солдат из пролетариев в армии не было и не могло быть. Война держалась просто на невежестве русского мужика, который шел на войну, не отдавая себе отчета, зачем и кому нужна эта война. И только в силу необходимости, потому что война слишком затянулась, он стал доискиваться причин ее неудачи. И, разумеется, эти причины, по мнению массы, были в том, что у нас много начальства из немцев, так как царица — немка, и поэтому много измен. Убийство Распутина произвело большой фурор среди солдат, а Пуришкевич, участник убийства, стал завоевывать в армии популярность. „Вот молодец, — говорили солдаты, — убил того, кто близок был к царице! Вот бы и ее убить, и тогда у нас дела пошли бы лучше, а то с немцами воюем, и везде немцы у нас командуют нами".

В начале 1917 года в 7-й армии был съезд командующих корпусами с участием военного духовенства. А так как одним из корпусов 7-й армии командовал брат Николая II, вел. князь Михаил Александрович, то и он, очевидно, был на этом съезде.

Результатом этого съезда был секретный приказ по армии; подлинника его я, к сожалению, не имею, но хорошо помню, что он сводился к следующему:

Армия разлагается, и если этот процесс разложения не будет приостановлен в ближайшие месяцы, то война не только будет проиграна, но это разложение будет большой угрозой для нашей дорогой родины. Главным элементом разложения нашей армии являются баптисты и социалисты. Кто только теперь не скрывается под солдатской шинелью? Нужно обратить сугубое внимание на солдат-рабочих из крупных промышленных центров и всякого замеченного в агитации за мир, за дезертирство расстреливать на месте.

Но этот приказ был плачем ребенка в пеленках, так как поздно уже было приводить армию в боевую готовность. Скоро в армии стали ходить слухи о том, что распущенная Государственная Дума в Петрограде не разошлась и что вообще в Петрограде что-то делается. По крайней мере, у нас в штабе передавали об этом друг другу на ухо. В типографию прекратили доставлять газеты, чего до этого не было.

И вот однажды сквозь сон чувствую, как меня тащат за ноги с кровати; я выругался: „Черти, такие-сякие! Да ну вас к чорту с работой! И поспать не дадут". Обычно мы друг друга тащили с кровати, когда подходила очередь вступать на работу. „Да какая там, к чорту, работа! В Петрограде революция, а ты спишь, хочешь всю революцию проспать". Продираю глаза, и мне суют только что полученные газеты: Николай отказался от престола государства российского для блага народа... В Петрограде образовалось Временное Правительство. Глазам не верю: не сон ли это? Но оказалось, что это подлинная действительность. Кое-что напялил на себя, бегу в типографию, ног под собой от радости не чувствую. Вокруг типографии полно экипажей, автомобилей. А в самой типографии полно полковников, генералов,— все штабное начальство собралось; принесли печатать приказ об отречении Николая от престола. Собравшееся начальство, мирно беседуя между собой, делает вывод: Николай отрекся, теперь будет Михаил царем, а верховным главнокомандующим— Николай Николаевич, и дела на фронте должны улучшиться. Кто-то из солдат вставляет поправку в мирную беседу начальства: „Никаких Михаилов, никаких царей нам не нужно,—будет республика". Хотя бы одно слово возражения со стороны начальства на эту бесцеремонную и дерзкую поправку. Куда только девалась вчерашняя гроза! А ну-ка, скажи эту фразу несколько дней назад!..

Недолго думая, типографские рабочие решили соорудить красный флаг, но красной материи не было; взяли белый картон, намазали его красной краской, подсушили и написали свинцовыми белилами: „Да здравствует демократическая республика и Учредительное Собрание!". Наутро собралась шумная демонстрация. Весь бучачский гарнизон явился на демонстрацию. Штаб стоял

тогда в городе Бучаче. Сколько было речей на этой демонстрации! Все ораторы говорили в патриотическом духе. Кричали „ура" Милюкову, Родзянке, Чхеидзе и даже Пуришкевичу. Солдаты еще не умели петь революционных песен, но подтягивали под музыку „марсельезу". Вечером гарнизон присягнул в верности Временному Правительству и Учредительному Собранию.

X. Как армия отнеслась к революции.

Нечего и говорить, что армия, как таковая, целиком перешла на сторону революции. Появилось много социалистов, которые дурманили далеко не социалистическими речами головы солдатам, плохо понимающим, что такое социализм. Всё валили в одну кучу — Милюкова, Родзянко, Чхеидзе и Керенского. Разумеется, вся эта плеяда якобы-социалистов была за войну до победного конца. Солдаты в своей массе понятия не имели, что такое классы — капиталисты, помещики, пролетариат и крестьянство. Нужно было все начинать с азов. Работы для каждого мало-мальски политически грамотного человека было по горло. Социалисты всех оттенков по духу узнавали друг друга и стали стихийно группироваться, чтобы парализовать работу любителей половить рыбку в мутной воде. Офицерский командный состав не представлял собой единой сплоченной массы. Незначительная часть, одиночки, из молодых офицеров, примкнули к солдатам, и некоторые из них оказались с.-д. и с.-р. Часть офицерства, более тупая, была настроена реакционно. Горевали о том, что вместо благородия и высокоблагородия солдаты могли их называть просто господином; на этой почве потери былой власти были даже самоубийства офицеров. Определенная часть офицерства, вполне сознательные монархисты, притаились, как будто исчезли из армии. Шевцова, который нанес мне пощечину, когда я пришел в типографию (он уже дослужился до чина полковника), я тоже встретил в рядах вновь испеченных социалистов; он самый пышный красный бант повесил себе на грудь. Я ему так и не отомстил за пощечину, хотя имел полную возможность отомстить,— не до него было. Дошло до того, что не-социалистов в армии и не было, если судить по всем этим красным бантам. Скоро вновь испеченные социалисты, начитавшись буржуазных газет, увидели, что еще не все потеряно, начали натравливать солдат на рабочих, которые требуют 8-часового рабочего дня для себя в то время, когда солдаты сидят в окопах по 24 часа. Такая агитация была не совсем безуспешна. Но все несчастие офицерского состава, пытавшегося натравить солдат на рабочих, заключалось в том, что они были офицерами. Слишком свежо еще было в памяти каждого солдата, чем был для него офицер в прошлом: и бог и царь, что хотел, то и мог сделать с солдатом. Сознатель-

ные солдаты, которых было немного в армии, прекрасно понимали смысл такой травли рабочих. Они легко могли вести борьбу против такой травли уже потому, что люди в офицерских погонах вообще не имели никакого авторитета среди солдат. Вот когда было подходящее время буржуазным сынкам-офицерам снять офицерские погоны в интересах того класса, из которого они вышли. Но они держались за офицерские погоны, как дети за побрякушку.

Однажды на гарнизонном митинге солдат в Бучаче полковник генерального штаба Левицкий, которому до этого митинга удалось произнести одну удачную речь против Германии, выступил с речью с таким пафосом, который свойственен генштабистам. Речь его сводилась к следующему: „Нам, русским, необходимо закончить войну к сентябрю. Если же рабочие будут работать 8 часов, а не столько, сколько нужно для того, чтобы не было кризиса в снарядах, то мы будем воевать еще два года и не кончим войны". Солдаты ему похлопали, и Левицкий был окрылен успехом. Вообще солдаты склонны были хлопать каждому, кто красиво и с подъемом скажет речь; смысла же речи, по темноте своей, они пока неспособны были усвоить,—слишком все это было ново для них. Но вот выступил с возражением Левицкому военный врач Маркович, старый с.-д. меньшевик, разбил в пух и прах Левицкого и высмеял его, как политического невежду. Он обосновал программное требование РСДРП 8-часового рабочего дня и вскрыл всю подлость этого натравливания солдат на рабочих. В дальнейших выступлениях солдаты с.-д. выявили причины этого натравливания на рабочих и необходимость для нас, солдат, если мы не хотим быть рабами, итти в ногу с рабочими. Собрание кончилось тем, что были выбраны два делегата от гарнизона для поездки в Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов, чтобы теснее связаться с ним. Выбранными оказались: один эс-эр, чертежник штаба армии Борисов и я, с.-д. Левицкий ушел с собрания, оплеванный теми солдатами, которые так недавно ему аплодировали. Это неудачное выступление так на него подействовало, что он удрал в тыл, куда-то в Киев.

Долго начальство чинило препятствия для поездки в Петроград выбранной от гарнизона делегации. Эта канитель продолжалась недели две. Начальство считало наши выборы самочинными, незаконными, как и самые Советы. Но напор солдатской массы был настолько силен, что начальство вынуждено было не только послать делегацию в Петроград, но начальник штаба генерал Незнамов дал еще денег для закупки революционной литературы для солдат. Вместе с тем офицеры собрались и выбрали своего делегата, тоже для поездки в Петроград, подпоручика Кржижановского, который, между прочим, из Петрограда приехал уже штабс-капитаном, ставши поклонником Керенского.

XI. Советы и партийные группировки в армии.

В первые же дни революции в армии стали создаваться Советы Солдатских Депутатов, которые так или иначе взяли на себя руководство теми митингами и собраниями, которые происходили в армии. Все ораторы по прежнему причисляли себя к социалистам. Но какие они социалисты, — никто не говорил; чувствовалась какая-то боязнь открыть свою принадлежность к той или иной партии. Еще полной уверенности в победе революции не было. Разумеется, многие выступавшие на солдатских собраниях были действительно социалистами. Но много было и волков в овечьей шкуре, потому что открыто защищать только что павший монархический строй нельзя было. Как-то на заседании Исполнительного Комитета Бучачского гарнизонного Совета Солдатских Депутатов я поднял вопрос о том, что „время всем нам открыть программы своих политических убеждений, а то все именуют себя социалистами, но редко кто говорит, к какой партии принадлежит. Между тем, под флагом социалистов выступает всякая монархическая и прочая сволочь, и в солдатских головах получается полный сумбур. Я предлагаю устроить гарнизонное собрание, на котором кто-либо из нас должен выступить с докладом по текущему моменту". Это предложение долго обсуждалось, и в процессе обсуждения выяснилось, что среди нас три с.-д.: Емельянов, меньшевик, по образованию юрист; затем подпоручик, этапный комендант гор. Бучача (фамилии его не помню), тоже меньшевик, и я. Остальные человек двенадцать — эс-эры. Но мы долго спорили о том, нужно ли открывать свою принадлежность к той или иной партии. Решили, наконец, что нужно открыть, кто к какой партии принадлежит, и поставить доклад о текущем моменте. Никто не хотел взять на себя этот доклад, и пришлось мне взяться за подготовку к нему. Пришел под утро с собрания домой, обложился газетами и начал готовиться к докладу. Читаю в газете такую фразу: „Меньшевики-интернационалисты". Что за чушь, — думаю, — не опечатка ли? Перевернул газету, несколько раз прочел это слово и пришел к выводу, что это не опечатка, но, — раз пишут „интернационалисты", — значит, есть и не интернационалисты? Но ведь вся РСДРП в целом — и большевики, и меньшевики — есть интернациональная партия, иначе я не мог мыслить. Значит, что-то произошло за $2^1/_2$ года службы в армии: давала себя сильно чувствовать отсталость от политической жизни за время службы в армии. Просто я был не в курсе тех партийных группировок, которые произошли во время войны.

Кое-как я собрался с силами для выступления с докладом о текущем моменте. Волновался, так как предстояло выступать на многолюдном собрании, где меня будет слушать не только масса, но и товарищи, теоретически более подготовленные, — врач

Маркович, меньшевик, юрист Емельянов, тоже меньшевик, подпоручик, и целая плеяда эс-эров. Но все же я выступил с докладом. Я не вполне правильно изложил текущий момент, больше всего говорил о том, как мы, с.-д., смотрели на войну, когда она начиналась, и вообще что такое война, и что РСДРП как была, так и остается за скорейшее прекращение этой бойни. Я изложил то, что мне было известно.

Первым с критикой доклада выступил эс-эр, некий Розенштейн, который стал критиковать с.-д. и превозносить свою партию эс-эров, но солдаты не давали ему говорить не потому, что он—эс-эр, а потому, что он—еврей: евреи всегда, мол, идут против русских. Пришлось разъяснять солдатам, что товарищ не потому говорит против, что он—еврей, а потому, что он отстаивает взгляды другой партии, которая иначе смотрит на текущий момент и вообще на все вопросы. Я сказал, что теперь все нации равны, и разъяснил, кому было выгодно угнетение малых национальностей в России. С критикой доклада, как одностороннего, однобокого, выступали главным образом эс-эры. Но в защиту моего доклада ни один из присутствовавших здесь трех с.-д. меньшевиков не выступил. Емельянов, будучи неплохим оратором, ничего лучшего не нашел сказать, как только то, что он далеко не согласен с докладчиком, но свою точку зрения изложит после, в особом докладе.

Начало было положено, о партиях заговорили. От меня лично отшатнулась вся эс-эровская публика, считая меня хорошим, но заблуждающимся парнем. „Лучше было бы, если бы ты был эс-эром, тогда мы твою кандидатуру выставили бы в Учредительное Собрание". Мне пришлось остаться политически одиноким; хоть бы один большевик был среди нас, с кем можно было бы советоваться. Емельянов и другие меньшевики частным образом все читали мне нотации, что надо быть сдержанным, особенно в отношении к эс-эрам. Наоборот, мы с ними должны объединяться, чтобы достигнуть социалистического большинства в Учредительном Собрании. О партиях заговорили, но партийных групп, вполне организованных, в армии еще не было. Стало постепенно вылезать контр-революционное офицерство, натравливая офицеров против Советов, как самочинной организации, никаким законом не предусмотренной, и где солдаты главенствуют над офицерами.

Однажды мне пришлось присутствовать на собрании одних офицеров, где они обсуждали вопрос о своем угнетенном положении. Ставили они вопрос так, чтобы в Советах были пополам поделены голоса: половина голосов должна принадлежать солдатам, а половина — офицерам. Нелепая постановка вопроса. Бока болели от хохота при виде того, как они конструировали президиум своего собрания и как они три часа бились над этим вопросом: сколько ни выбирали председателей собрания, никто из них не умел вести собрания. Кончили тем, что выбрали солдата Емельянова, с.-д., как председателя Совета, а ему удалось свести их собрание

к нулю. Вынесли решение, что собрание созвано по недоразумению, и разошлись. Офицерский состав все же был недоволен Советами, но боялся это недовольство выявлять перед солдатами. Скоро получили положение Временного Правительства о военных комитетах, стали организовывать, начиная с ротных и кончая фронтовыми комитетами, и в то же время продолжали существовать гарнизонные Советы, не предусмотренные никаким положением. Существовали, так сказать, по праву революции. Мы свой Бучачский гарнизонный Совет Солдатских Депутатов переименовали в Совет Солдатских и Офицерских Депутатов. Таким переименованием некоторую часть офицерского состава приблизили к себе и выбили почву у монархической части офицерства формировать офицерскую касту. Но организованной партийной ячейки еще не было ни у эс-эров, ни у с.-д.; были только отдельные товарищи, считающие себя членами той или иной партии.

Наша гарнизонная делегация отправилась в Петроград. Поездка оказалась удачной, я ее использовал во-всю. Удалось побывать на докладе тов. Ленина 4-го апреля, приобрести необходимую литературу, завязать связи с ЦК и Петр. Ком. РСДРП (б), на обратном пути в армию удалось связаться и с Москвой, где мы специально останавливались на несколько дней, и с Киевом. Киевская организация ближе всего была к нам, фронтовикам.

Но регулярнее всего нас информировал о положении дел в партии, ЦК и ПК тогдашний секретарь ЦК, тов. Е. Стасова; она была на высоте своего положения, информировала нас в письмах, а после, когда усилилась травля против большевиков, завертывала в эс-эровские газеты и присылала к нам в типографию на мое имя все важные постановления партии.

По приезде нашей делегации из Петрограда в Бучаче происходил и уже кончал свои работы 1-й армейский съезд, на который оказались избранными и мы. Пришел я на съезд, смотрю: эс-эр Борисов, ездивший со мной в Петроград, расположился в углу со своей эс-эровской литературой. Продает ее солдатам и желающих записывает в партию, копируя то, что он видел в Петрограде, в Таврическом дворце. Я попросил своих типографских ребят тоже принести ту литературу, которую я привез из Петрограда. „А цены какие ставить,—спрашивают,—на газеты и мелкие брошюры?“ — „Никаких цен; откуда у солдата могут быть деньги? Раздавайте даром, нам нужны теперь не деньги, а масса“. Мигом разобрали нашу литературу. Через несколько часов кто-то, взяв вне очереди слово, предлагает снять кресты и медали и пожертвовать их в пользу газеты „Правда“. Борисов, бросив торговлю, подбежал к трибуне, кричит, что надо половину сбора отдать и на газету „Земля и Воля“, которая лучше „Правды“. „Правду“ издают большевики, во главе с Лениным, немецким шпионом. Его голос оказался гласом вопиющего в пустыне. „Мы не знаем вашей газеты!—кричат солдаты,—«Правду» мы знаем, а когда узнаем вашу, тогда посмотрим“. Куда эти кресты и медали пошли,—я не знаю, так как в армейский комитет

были выбраны в большинстве эс-эры и меньшевики, благодаря отсутствию большевиков в армии. У эс-эров были крупные силы, например подпоручик Степун, кажется профессор, во всяком случае оратор не плохой. У меньшевиков — юрист Емельянов, доктор Ружейников и другие. Они и победили, прошли в армейский комитет. Большевиков, как таковых, не было, и я был на этом съезде в одиночестве. Работа этого съезда велась под руководством эс-эров. Они быстро организовали свою фронтовую партию, в которую призывали записываться всех честных граждан. Партия настолько разбухла, что, куда ни плюнь, непременно попадешь в эс-эра. Даже некоторые идейные эс-эры стали этим тяготиться. Армию заполонили приезжающие агитаторы из тыла. Сперва приехали депутаты Государственной Думы, кадеты Дуров, Демидов, третьего фамилии не помню; их тоже встречали с красными флагами, как революционеров. За ними последовала целая плеяда агитаторов; все агитировали за наступление, и все были эс-эры и меньшевики. Большевиков у нас еще не было. Только наши типографщики, вопреки настроению печатников в тылу, были настроены большевистски, так как им надоела война и хотелось скорейшего окончания ее.

Типография штаба сослужила большую службу делу революции: сколько у нас в типографии было перепечатано отдельных статей из „Правды“ и мелких брошюр, очень близких и доступных солдатам! И все это быстро отправлялось на фронт при помощи летучей почты, самокатчиков и мотоциклистов, которые также хотели скорейшего окончания войны и охотно распространяли нашу литературу. У эс-эров создалось впечатление, что у большевиков есть на фронте подпольная типография, хорошо оборудованная. В то время, когда большевистской организации, как таковой, на фронте еще не было, все это печаталось в армейской типографии, в порядке добровольности. А к официальной работе, которая поступала из штаба и армейского комитета, относились по-официальному, так как эс-эрам и меньшевикам не сочувствовали; нередко работа армейского комитета залеживалась в типографии. Сколько было трений на этой почве с редактором армейской газеты, т.-е. эс-эровской газеты! Когда ее печатали, так то бумаги нехватало, а то машина портилась. Все это рабочие подстраивали вполне сознательно. И, как на грех, из членов армейского комитета не было ни одного печатника, который бы мог проникнуть во все тайны этого саботажа рабочих. Все ко мне обращались, как работающему в типографии, ну, я им помогал своими советами, как мертвому кадило. „Машин, — говорю, — нехватает и заведующий плох“.

Однажды был сделан донос комиссару армии Б. Савинкову о том, что я, якобы, устраиваю большевистские собрания. Б. Савинков передал дело на рассмотрение армейского комитета, куда меня и вызвали. Я никаких митингов по ночам не устраивал и не было в них никакой нужды, что великолепно знали и некоторые члены армейского комитета. Меня порасспросили об этом,

чем дело и кончилось. Были же досужие люди из контр-разведки, которым и во сне грезились страшные большевики!

Настало время нашего отчета о поездке в Петроград; как это обыкновенно было всегда, собрали многолюдное гарнизонное собрание, и мы, трое делегатов, отчитались. Отчеты наши были различные, так как мы все трое были не похожи друг на друга. Развернулись широкие прения по отчетам, в которых необыкновенно живое участие, чего еще ни разу не было на гарнизонных собраниях, принимали штабные офицеры. Все их речи скорее носили характер ругани по адресу тов. Ленина, чем характер политических речей. Ленин — предатель родины, он проехал в пломбированном вагоне через Германию и теперь на деньги Вильгельма работает в пользу Германии. Один из них в своей ругани дошел до того, что назвал предателями, изменниками всех русских с.-д., которых водят за нос германские с.-д., в доказательство чего приводил такую чепуху: когда началась война в 1914 г., Вильгельм спросил вождя немецкой с.-д. А. Бебеля: что теперь нам, немцам, надо делать? Бебель ответил: надо лить снаряды и бить русских. А русские с.-д. тем только и занимались, что предавали Россию Германии. Получалось, таким образом, одно сплетение ругани с клеветой, и больше ничего. Бебель, как известно, умер в 1913 г., а война началась в 1914 г.

На этих оппонентов набросился доктор Маркович, который корчил из себя большого теоретика, любил на солдатских митингах говорить много замысловатых ученых слов, со ссылками на Энгельса и Маркса. Начал Маркович свою речь так: „Я, Маркович, состою 20 лет в партии с.-д. и 15 лет служу военным врачом, когда не был большевиком и в данный момент являюсь последователем Г. В. Плеханова, основоположника русского марксизма. За время своей службы военным врачом я не встречал социалистов в офицерской среде, и они сегодня своими выступлениями доказали свое невежество в понимании социализма, и вы, солдаты, будьте осторожны, не поддавайтесь обаянию офицерских речей. Ленина мы все знаем хорошо, под псевдонимом Ленина скрывается В. И. Ульянов, который написал книгу „Развитие капитализма в России“, своими трудами он дал материал для разработки аграрного вопроса в России. Ленин мог бы быть министром земледелия, но он свою карьеру сменил на изгнание, служа 20 лет рабочему классу. Плеханов всегда ценил Ленина, как твердого, ортодоксального марксиста. Ленин безусловно занял неправильную позицию в нынешней русской революции, но это объясняется тем, что он был оторван от России, все время жил за границей, и поскольку эта линия неправильна, мы будем с ней бороться“. Дальше Маркович продолжал развивать взгляды меньшевиков-плехановцев, как самые правильные в нынешней революции, снабжая свою речь иностранными учеными словами. Маркович достиг обратных результатов: его солдаты приняли за ленинца и шумно аплодировали ему. Получилась невольная услуга большевикам. „Раз Ленин умный и не шпион, не предатель, и хочет

заключить мир, то мы и пойдем за ним", — говорили солдаты после собрания.

Каждый солдат хотел скорейшего мира, но ему морочили голову и пугали Вильгельмом.

Большевиков-партийцев в нашей армии все еще не было, и создавать что-либо вроде партийной ячейки не из кого было. Да и вообще тогда еще и у меньшевиков не было никакой ячейки, и мы, все с.-д., без различия фракций, стали собираться и обсуждать этот вопрос. Нас было не так много, и нужно было собрать хоть то, что есть. Резиденцией этих собраний была опять-таки типография. Эти собрания посещали регулярно следующие товарищи: Маркович, Ружейников, Перец, Важнов и я. Остальные товарищи были случайными посетителями наших собраний, приезжая из различных частей фронта. Все мы сошлись на том, что наша организация не должна носить характер какой-то автономной организации, как это сделали эс-эры, назвав себя фронтовой партией, и в то же время мы не должны так разбухать, как они, записывающие всех желающих в свою партию. Нам важно собрать свои силы и распространить свое влияние на солдат и найти такую форму организации, чтобы мы представляли из себя часть РСДРП. А разделимся ли мы на фракции большевиков и меньшевиков, — это вопрос будущего: каждому давалось право причислять себя к любой из фракций, которые тогда имелись в РСДРП. Пока нужно было собрать то, что есть. Кроме того, еще было много таких вопросов, которые до известной степени нас всех объединяли. Предвидеть, какие размеры примет дальнейший ход революции, нам, рядовым работникам, было трудно. Но мы все сходились на том, чтобы в случае надобности дать отпор контр-революционному офицерству. А что такой случай в специфических фронтовых условиях может произойти, — каждый из нас допускал.

Для собирания наших сил и для приема новых членов в партию мы выбрали временное организационное бюро из 5 лиц, в которое вошли: Перец, Маркович, интеллигент Важнов и я, рабочий, фамилии пятого не помню. Чтобы собрать публику, решили вывесить объявления на видных местах, приурочивая наше первое собрание всех армейских с.-д. ко второму армейскому съезду, который был назначен на 10 мая в Бучаче.

Привожу это объявление по подлиннику:

„РСДРП. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Организационное бюро РСДРП доводит до сведения товарищей о том, что бюро помещается в зале собрания при механическом заводе, куда и надлежит обращаться за всеми справками по партии; там же производится и запись в члены РСДРП в установленные дни. Кроме того, можно обращаться за справками по партии к председателю бюро А. М. Пирейко (адрес: типография штаба VII армии) и секретарю А. Н. Важнову (26-я самокатная рота).

Бюро открыто от $12^1/_2$ до 2 часов дня и от $6^1/_2$ до 8 часов вечера по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Организационное бюро гор. Бучача".

К нам каждый день приходили товарищи из различных частей армии, которых мы снабжали литературой и чем могли. К моменту 2-го армейского съезда у нас уже было несколько десятков членов партии. Помещение при механическом заводе армии превратили в клуб. Среди типографских рабочих нашлись и художники. В нашем клубе было самое лучшее знамя, оказалось пианино, был хор и музыканты — на мандолине, балалайке, гитаре и даже на скрипке. Стены были разукрашены портретами вождей социализма. Была библиотека и газеты, какие только тогда выходили. Но больше всего читали киевский „Голос Социал-Демократа"— большевистская газета, очень доступная для солдат по своему содержанию. На эту газету даже сборы иногда делались в типографии по инициативе самих солдат. Было назначено официальное открытие клуба, после чего был концерт, устроенный своими силами. На открытии приветствовал нас представитель партии эс-эров и помощник Б. Савинкова, армейского комиссара. Эс-эрам понравился наш клуб, и они предлагали сделать его общим, но бюро наше отклонило их предложение. Каждый день в клубе были доклады, сопровождавшиеся диспутами; главными докладчиками всегда были Маркович и Перец, оба меньшевики; иногда и я выступал с докладами, но большей частью оппонентом в прениях. Тут говорилось, что такое партия, учредительное собрание, и разъяснялся текущий момент. Постепенно вырисовывались две точки зрения.

Типографские рабочие сразу перешли к большевикам, на заводе этот процесс шел несколько медленнее. Приходили к нам и из других частей солдаты. Но помещение было маленькое, и когда нам нужно было устроить многолюдное собрание, мы устраивали его, в театре (в Бучаче был хороший, с большим залом театр), а то и под открытым небом. В клуб же приходила более или менее отшлифованная публика, так как он считался партийным. В типографии всё продолжали перепечатку всего того, что было необходимо распространить среди массы солдат по частям; недостатка в распространителях не чувствовалось. Формально принадлежащих к партии даже в рабочей среде, в типографии, заводе и т. п., было немного, но сочувствие большевикам было огромное.

Чтобы охарактеризовать настроение солдат, мобилизованных с фабрик и заводов, остановимся несколько подробнее на одном переплетчике, работавшем у нас в типографии. Фамилия его Груздев. Не один раз был он ранен и контужен. Пришел он к нам в типографию работать за несколько месяцев до революции. Груздев никогда не аплодировал ни одному оратору, который призывал вести войну до победоносного конца, как бы он красиво ни говорил. И так ему все это надоело, что, кто бы ни приезжал

из тыла в качестве агитатора от эс-эров и меньшевиков, всех их он называл учеными обманщиками и скоро окончательно перестал ходить на собрания, предпочитая вместо собрания удаляться в лес, собирать ягоды и проч. Когда Груздева спрашивали, к какой он партии принадлежит, он отвечал: „Я запишусь в ту партию, которая скажет: долой войну и бей буржуев!". Когда он стал читать „Правду" и познакомился со статьями Ленина, он заявил: „Вот в эту партию, в которой состоит Ленин, я пойду. Ленин как раз излагает то, что я думаю". Груздев понаделал в художественном вкусе рамок для портретов выдающихся деятелей социализма, которые мы считали нужным развешивать в клубе. Но вот как-то пришли к нему эс-эры с просьбой сделать рамку для Керенского. Давали 100 руб. за работу. 100 рублей — большая сумма денег для солдата, но, несмотря на свою слабость к выпивке, Груздев наотрез отказался делать рамку для портрета Керенского за какую бы то ни было цену, ехидно подчеркивая: „А вот для Ленина сделаю бесплатно", хотя тогда еще портретов Ленина в армии не было. Много было также солдат, которые нигде не выступали, втихомолку читали большевистские газеты и все прочитанное энергично передавали своим товарищам по службе.

Наша объединенная организация РСДРП не устраивала много заседаний чисто партийного характера. Все у нас было приурочено к армейскому съезду. К нам приходили товарищи из различных воинских частей, мы их регистрировали, а сами занимались агитационно-пропагандистской работой. А так как председатель и секретарь бюро были большевиками, то и литературу мы предпочитали выписывать из Киева большевистскую.

Маркович и Перец читали лекции по аграрному вопросу, как более интересному для солдат-крестьян, и по другим вопросам, а я и тов. Важнов вели организационную работу и выписывали литературу.

XII. Перед наступлением 18 июня 1917 года.

Толпа не рассуждает, а действует. Приходилось приспособляться и не говорить о своей принадлежности к партии. То на погоны офицерские сошлешься, которые ненавидели солдаты, то укажешь, кто сколько от войны заработал, не жертвуя ничем, то к братанью с неприятельскими солдатами призовешь и незаметно для массы выскажешься в духе партии большевиков. Одобрительно хлопают. Выступает эс-эр и говорит: „Кому вы хлопаете? Ведь это — большевик-ленинец!". Слово „Ленин" тогда считалось самым позорным в армии, ибо он рисовался, как сторонник возвращения старого режима. Кое-кто из толпы с места выкрикнет: „Ленинец, а правду говорил!". Было немного солдат среди типографских рабочих и в других частях, крепко

сагитированных в большевистском духе. Литературу они распространяли, но выступать на собраниях не могли. Резолюции везде выносились эс-эровские и меньшевистские.

В заключение всего, в связи с подготовкой наступления, пожаловал к нам сам Керенский с Н. Д. Соколовым, постоянным кандидатом от большевиков в Государственную Думу по городской курии Петрограда и никогда не проходившим в депутаты Гос. Думы. Этот человек ничего не говорил, но зачем-то, очевидно в качестве адъютанта, гастролировал с Керенским по фронту. Керенского солдаты на руках носили; кое-где, правда, не носили, но это было исключением. Итак, наступление было подготовлено. В большевики зачисляли всех дезертиров и вообще людей, имевших смелость сказать, что они итти в наступление не желают, и стали им зажимать рот. Меня исключили из Бучачского гарнизонного Совета только за то, что я не подчинился его решению ходить на этапные пункты вместе с другими членами Совета для агитации за наступление. Но типографские рабочие опять меня выбрали не только в Совет, но и на 2-й съезд армии, который собрался в Бучаче 10 мая.

На открытие съезда пришел Б. Савинков, комиссар армии, и привел с собой французских офицеров, речи которых он же переводил на русский язык. Б. Савинков, между прочим, рассказал нам, что Франция — самая свободная страна в мире, где и он, Савинков, будучи приговорен в России к смертной казни, нашел себе приют, и мы должны пойти с ней рука-об-руку и победить Германию. Б. Савинков, как оратор, хорошо говорил. Человек он смелый и решительный и своим выступлением определил решения съезда. Были еще два сильных оратора на этом съезде от партии эс-эров: один — подпоручик Степун, а фамилии другого не помню. Он председательствовал на съезде и недурно вел собрание. Эхо его голоса раздавалось очень отчетливо по всему парку, где происходил многолюдный митинг, называвшийся съездом армии.

Гвоздем съезда был вопрос о предстоящем наступлении, но прежде, чем приступить к этому вопросу, обсуждали вопрос о братаньи на фронте, которое было сильно в армии. Увлекавшиеся ораторы-эс-эры доходили в своих речах до утверждения, что, будто бы, брататься ходят только бывшие городовые и жандармы, которые сделались теперь большевиками. Сидящий рядом со мной солдат говорит: „Вот это неверно: я никогда не был ни городовым, ни жандармом, а брататься с австрийцами ходил, и все мы ходили“. Я ему говорю: „Так ты запишись, взойди на трибуну и заяви, что оратор неправильно говорит“.— „Нет, я боюсь это сделать: видишь, там сидят всё офицеры и даже генерал сидит, еще могут арестовать, а то и расстреляют за это“. Как я ему ни доказывал, что за выступление ничего не будет, солдат не соглашался выступить. „Теперь, — говорит, — стало строго насчет братанья, и говорить об этом я не буду, а то еще узнают, что я ходил брататься“. Братанье, разумеется, было

осуждено съездом. Один только солдат высказался за братанье, Филатов, петроградский рабочий, большевик. Ему не дали закончить свою речь: закричали, что это—переодетый жандарм. Вопрос о братанье обсуждали около двух дней, а потом перешли к вопросу о предстоящем наступлении, который обсуждался съездом три дня. Наговорились, что называется, досыта, захотелось эс-эрам поиздеваться над партией большевиков, и они привели на съезд какого-то не то шофера, не то самокатчика, который от своего имени расклеивал по городу какие-то бумажки в виде прокламаций с призывом „долой войну!". Вот, мол, смотрите,—расходились эс-эровские ораторы,—здесь на съезде большевики молчат, точно воды в рот набрали, а из-за угла, как жалкие трусы, расклеивают прокламации с призывом „долой войну!". Толпа съезда так была наэлектризована против этого человека, что готова была разорвать его в клочки, но его арестовали и куда-то увели.

В то же время большевикам было предоставлено слово вне очереди по данному вопросу: пусть они представят мнение своей партии съезду, — в противном случае они жалкие трусы. Филатов опять пошел к трибуне и, как большевик, получил слово вне очереди. Когда он взошел на трибуну, поднялся такой шум, что он сошел с трибуны, ничего не сказав. После него вступил на трибуну и я. Меня также перебивали на каждом слове. Я отказывался от слова, если президиум не сумеет призвать собрание к порядку и предоставить возможность говорить ораторам затравленной партии. Президиум тщетно старался призвать к порядку и спокойствию разбушевавшуюся толпу. Но мне удалось сказать, что здесь происходит глумление над партией, которая ничего общего не имеет с тем товарищем, который от своего имени расклеивал прокламации по городу. „Вы представили его большевиком, но большевики не анархисты, и от своего имени ни один член партии издавать прокламаций не может. Вы, наверно, придумали этого большевика, которого приводили на трибуну. Как солдаты, мы, большевики, пойдем туда, куда нас пошлют в порядке воинской дисциплины; но постольку, поскольку мы считаем наступление бессмысленным, ненужным, мы будем об этом говорить везде и всюду; это — наше убеждение, и отнять его у нас вы не можете". Но мне не дали закончить свою речь. Бросали такие реплики с мест: „Окопался в тылу, поэтому и боишься, чтобы не пойти на фронт" и т. д. в этом роде.

Дошло дело до того, что даже один меньшевик вынужден был заявить с трибуны, что „нельзя пользоваться неосведомленностью делегатов съезда, перед которыми большевизм изложен не как течение в РСДРП, имевшее свою славную историю в борьбе за освобождение рабочего класса; от такого изложения большевизма, какое было здесь, на съезде, должен покраснеть каждый из нас. Большевизм имел и имеет большое влияние и на рабочих и на солдат, на что закрывать глаза нельзя, и что еще покажет ближайшее будущее в связи с предстоящим насту-

плением, — мы не знаем. Во всяком случае верно то, что армия не представляет себе ясно, во имя чего она воевала и во имя чего она сейчас должна наступать. Лично я против братанья, которое используется немецкой контр-разведкой, так же как и против этого скоропалительного необдуманного наступления, которое может кончиться крахом для усталой от войны русской армии". Из речи этого меньшевика было видно, что в их среде нет единства в вопросе о наступлении, как это было у эс-эров-фронтовиков. Тогда еще о левых эс-эрах на фронте не было слышно. Больше того: приходилось встречать меньшевиков из рабочих, старых членов партии, которые явно сочувствовали большевикам; только по традиции они плелись еще за меньшевиками; долгое пребывание в партии заставляет настолько сживаться с ней, что, пока ты не придешь к выводу об измене своей партии интересам рабочего класса, ты будешь и должен в порядке партийной дисциплины сплошь и рядом итти против своих собственных суждений по тому или иному вопросу. И этот процесс отхода от партии, в которой ты состоял десятки лет, так скоро не наступает.

Один солдат самокатной роты, Макаров, принадлежавший к этой категории меньшевиков, делал доклад на данном съезде о фронтовом съезде, и он с таким подъемом прочел большевистскую резолюцию по вопросу о наступлении, отвергнутую съездом, что вызвал шумную овацию съезда, и в то же время он вяло, без всякого подъема прочел принятую съездом эс-эровско-меньшевистскую резолюцию. Когда его спросили, почему он вяло прочел резолюцию, за которую сам голосовал, и, наоборот, с таким подъемом прочел большевистскую резолюцию, Макаров ответил: „Потому, что большевистская резолюция написана слишком ясно и четко. Ясно, чего они хотят. В то же время этой ясности и четкости в эс-эровско-меньшевистской резолюции, принятой съездом, как раз и нет, хотя я за нее и голосовал в порядке партийной дисциплины".

После трехдневной говорильни были произведены выборы на Всероссийский съезд Советов. Прошли одни эс-эры. Меньшевики обиделись, но скоро помирились; сделали перевыборы, и им предоставили 2—3 места. На этом парадная работа съезда была закончена. Главные эс-эровские болтуны разъехались, торопясь на съезд Советов в Петроград; остальные вопросы, как аграрный вопрос, и целый ряд мелких местных чисто армейских обсуждались без них. По аграрному вопросу приняли резолюцию о необходимости отбирать землю у помещиков сейчас, не ожидая Учредительного Собрания. Как оставшиеся эс-эры ни распинались, что до Учредительного Собрания чисто анархическим путем земли забирать у помещиков нельзя,— все это было ни к чему: решили брать землю у помещиков сейчас же. Потом принялись за офицеров и сестер милосердия, жалованье которых требовали уравнять с солдатским жалованьем. Вообще в вопросах понятных для солдат они были настроены левее самых крайних из крайних большевиков.

Мне с тов. Важновым удалось снабдить весь съезд киевским „Голосом Социал-Демократа“, по тогдашнему времени очень хорошей большевистской газетой, и прочей литературой. Нам удалось для этой цели специально послать в Киев человека за литературой. Разрешение на эту командировку я получил тут же, на съезде, от начальника штаба, генерала Незнамова. Я подошел к генералу, взяв под козырек. Я, мол, председатель организации РСДРП, нам нужно командировать человека в Киев за литературой; ваш комендант артачится, не хочет дать разрешения. Генерал, в свою очередь, взяв под козырек, заявил, что все нужное для командировки можно получить тотчас же, и на клочке бумажки тут же написал коменданту, этому отъявленному монархисту, чтобы немедленно на имя такого-то солдата были выданы документы на срочную командировку в Киев. Газеты и литература были доставлены во-время. Маркович и Перец, члены бюро, были недовольны тем, что была доставлена только большевистская литература. Тут мы с тов. Важновым их просто надули, сказав, что мы товарища послали в Киев и к меньшевикам, но у них литературы не оказалось.

Нашему Бучачскому бюро удалось во время заседаний съезда созвать общее собрание всех с.-д., участников съезда, которых оказалось около 30 чел., в том числе 2 большевика, а большинство — „дикие“, т.-е. не знавшие, к какой фракции они принадлежат. Долгая служба в армии отрывала людей от жизни, и отсталость от партийной жизни давала себя чувствовать. Мне, как председателю бюро, пришлось выступить первому и разъяснить цель нашего собрания, а также что́ представляет из себя бюро и что́ нам необходимо учесть, какими силами мы располагаем в 7-й армии, и т. д. После меня выступил т. Филатов, который высказался против совместной работы с меньшевиками. Поговорили, ни к какому определенному результату не пришли и разошлись. После этого собрания в типографии состоялось, если можно так выразиться, большевистское совещание, на котором присутствовали т. Филатов, я, члены армейского съезда и Чистяков, который приехал прямо из окопов в типографию, по объявлению нашего Бучачского бюро РСДРП. Он нам доложил, что среди солдат растет определенно настроение в нашу пользу, и нам, большевикам, надо поддерживать теперь друг с другом связь, так как, в связи с предстоящим наступлением, начинаются аресты, и открыто выступать большевикам становится невозможно. Но до чисто большевистской ячейки в армии было еще далеко, так как некого было организовывать, хотя в отдельных частях ячейки начинали возникать, и в первую очередь такая ячейка оформилась у нас в типографии, которая усиленно распространяла литературу среди солдат. Печатный станок был использован во-всю.

По состоянию здоровья, как раз перед наступлением, я был уволен на 2 месяца в отпуск и уехал в Москву.

XIII. Выборы в Учредительное Собрание и Октябрьский переворот.

Я предпочел на время отпуска поехать в Москву, считая ее более спокойным городом, чем Петроград, и, следовательно, рассчитывая использовать свой отпуск и хоть немного отдохнуть. Но прежде, чем поехать в Москву, я заехал в Мариуполь по личным делам. На Никополь-Мариупольском заводе в это время преобладали меньшевики. Из Мариуполя шла отправка войск на фронт. Отправка была очень торжественно обставлена. Выступали с приветствием представители всех партий, кроме большевиков. Попы служили молебны, благословляли солдат и пели „многие лета" Временному Правительству. После этой отправки разнесся слух, что в Петрограде выступили большевики. Это были июльские дни. Сколько было злобы и клеветы в этом мещанском городе против большевиков, которые, как тогда говорили, нанесли удар армии в спину в то время, как она отстаивает завоевания революции!

Я уехал из Мариуполя через Харьков в Москву. После Харькова поднялась в вагонах поезда такая травля против большевиков, что достаточно было сказать несколько слов в их защиту, чтобы разъяренные пассажиры, состоявшие, главным образом из военных, выбросили тебя из вагона на ходу поезда. Приходилось молчать, стиснув зубы. Зашел во второй класс; там полно женщин в солдатской форме. Везли в действующую армию из Харькова женский батальон смерти. Чтобы отвлечь внимание от травли большевиков, говорю солдатам: „Вы вот кровь проливали на войне и едете в 3-м классе, в тесноте, в то время как женский батальон едет в этом же поезде во втором классе". — „Где? — загалдели солдаты, — как это так? Нас возили кровь проливать в теплушках, а этих..., которые будут так же воевать, как и сестры воевали с офицерами, возят еще во втором классе!" Начали шуметь, забыв про большевиков, и полезли во второй класс. Тема разговора была изменена, чего я и добивался.

По приезде в Москву, не успев даже переодеться в штатскую одежду, я очутился, не зная города, в Кремле, где собралась толпа из уличных зевак. Среди них ораторствует какой-то солдат, призывая расправиться тут же с каким-то прапорщиком, ибо он — ленинец, большевик, немецкий шпион. Какой-то господин в штатском, чистенько одетый, с интеллигентной физиономией, указывает мне на этого солдата, который так несвязно и безграмотно говорил: „Смотри, вот этот солдатик правильно говорит. Большевики, действительно, немецкие шпионы". Я посмотрел на него, смерил его с ног до головы и говорю: „Солдату-то этому простительно, он, видно, совсем безграмотный человек и в политике разбирается, как мы с вами в китайской азбуке; но вы-то если не с высшим, то во всяком случае со средним образованием, и когда вы думаете,

что у всех солдат чугунные лбы, и подзуживаете на самосуд вполне сознательно, в интересах своего класса, темных людей, то я вас иначе, как подлецом и негодяем, назвать не могу". — „Как? Я подлец?"—рассердился чисто одетый господин.—„Да, ты подлец!"—„Пойдем в комиссариат".—„В два комиссариата пойдем, но все-таки ты подлец!" Внимание толпы было обращено на нас, и прапорщик, воспользовавшись случаем, ушел. Был он большевик или нет,— я не знаю, но во всяком случае он был принят за такового и незаметно для себя сделал полезное дело. Видя мою измазанную гимнастерку, благодаря которой я производил впечатление строевого солдата, толпа со мной иначе разговаривала, и штатскому господину, вместо того, чтобы свести меня в комиссариат, пришлось самому улизнуть, ибо настроение толпы скоро могло повернуться не в его пользу.

В Москве отдыхать мне не пришлось, во-первых—потому, что для этого надо было иметь какие-нибудь средства к жизни, во-вторых—потому, что слишком неподходящее было время для отдыха. Зарегистрировавшись у воинского начальника, я пошел в Московский Губернский Совет Рабочих Депутатов и предложил свои услуги. Там встретил меня т. Плетнев, Валерьян Федорович, который, прежде всего, спросил о моих политических убеждениях; когда я назвался большевиком, он сказал: „Твои услуги будут нужны", и послал к т. Вегеру, бывшему тогда председателем Губсовдепа. Тов. Вегер был в форме военного врача, с длинными волосами и такой же длинной седой бородой. „Ну, это, наверно, не большевик", — подумал я, но оказалось наоборот. Вообще в Московской губ. среди рабочих тогда преобладали большевики, в то время как в Московском Городском Совете в большинстве были эс-эры и меньшевики. Тов. Вегер спросил, кто меня знает. Я указал на целый ряд товарищей, работавших тогда в Московском Комитете РСДРП (большевиков) и знавших меня, и я был принят в качестве инструктора по организации уездных и районных Советов Рабочих Депутатов. Работа была живая, интересная, и я целиком в нее ушел.

В августе я получил сведения из армии о том, что большевики, как самостоятельная организация, уже оформились. Была фронтовая конференция, которая выставила и мою кандидатуру в Учредительное Собрание. Спрашивали, согласен ли я баллотироваться. Я немедленно ответил, что согласен, но в армию не поехал, так как получил на комиссии продление отпуска еще на 2 мес. и, кроме того, был слишком занят работой в Московской губ., а работников в Губ. Совете тогда вообще было мало.

Связь у меня с типографией штаба армии не прерывалась, и я был в курсе дела все время. Кроме того, ко мне как-то заехал тот самый Груздев, который не хотел делать рамку для портрета Керенского,—он тоже получил отпуск; рассказывал, что он уже член партии и что много приходилось отступать. Большевиков арестовывают, но популярность большевиков в армии растет. Отзывался хорошо про тов. Чудновского, работавшего

тогда на фронте, и пророчил мне, что я пройду в учредилку. Осенью, уже в октябре, я получил от товарищей телеграмму с просьбой приехать в армию; но октябрьский переворот в Москве помешал мне сейчас же уехать. Когда в Москве бой был закончен, я сейчас же поехал в армию. Когда приехал туда, то оказалось, что и там уже был, по примеру Петрограда и Москвы, совершен переворот. Старые армейские комитеты, в которых сидели эс-эры и меньшевики, поразогнали, и на их место были назначены ревкомы. Митинги, собрания были бесконечные. Я сейчас же потонул в них, и для сна времени не оставалось. Выборы в Учредительное Собрание только-что были закончены; прошли в большинстве эс-эры, но кое-кто и из большевиков прошел; от юго-западного фронта прошли, между прочим, тов. Ленин и Зиновьев и, кажется, Чудновский. Хотя в большинстве прошли эс-эры, но настроение среди армии было далеко не в их пользу; большевики больше всех говорили и писали о мире, и армия фактически шла за ними.

По существу говоря, армии, как таковой, уже не существовало. Кто хотел, тот без всякого разрешения уезжал к себе домой, даже из типографии нашей многие поразъехались и больше не возвращались; оставалась часть солдат на фронте и в тылу не в силу военной дисциплины, а просто потому, что сразу всех железные дороги перевезти никак не могли, и так, чорт знает, что творилось тогда. Ездили на крышах, на тормозах, на буферах. А сколько было угроз по адресу железнодорожников, которые не могли отправить всех желающих ехать! Часть оставшихся в армии солдат (некоторые из них занимались мародерством, дележкой казенного имущества) бродила по деревням. Братанье с неприятельскими войсками было развито во-всю, но все-таки была значительная часть солдат, которые оставались по традиции на фронте и так или иначе сдерживали неприятеля, но только потому, что после объявления перемирия ожидали мира. Не будь перемирия, пожалуй, армия вся бы устремилась в тыл и всё, как саранча, уничтожила бы на своем пути. Занимались перевыборами командного состава каждый день, а то и по нескольку раз в день. Другими словами, армии уже не было: она была окончательно разложена и потеряла всякую боеспособность.

В таких условиях был назначен армейский съезд, чтобы выбрать армейский комитет. Шли выборы на съезд, и я тоже оказался избранным. Съезд, назначенный в Проскурове, собрался 10 ноября в Каменец-Подольске. Гвоздем этого съезда, по счету третьего, были два вопроса: 1) текущий момент, 2) отчет старого армейского комитета и выборы нового. Настроение солдат было теперь таково, что выступающим ораторам не давали говорить до тех пор, пока он не скажет, к какой он партии принадлежит: если правый эс-эр или меньшевик, то шумели, кричали, не давали говорить, мстили за прежний обман; наоборот, если большевик, то авансом аплодировали, а там говори, что хочешь: будут

одобрять, так как солдаты плохо разбирались в содержании речей и различали ораторов по принадлежности к той или иной партии. Им казалось, что большевики — это и есть та партия, которая одна только способна удовлетворить их солдатские нужды. Критиковать т. Ленина вообще нельзя было: на штыки поднимут. А над тем, что социалистическая революция потребует упорной борьбы и многих жертв, не задумывались.

Тов. Васянин, как комиссар армии, делал доклад о текущем моменте; речь его тянулась на протяжении трех часов; говорить он умел хорошо, с подъемом, и настолько увлекся, что следить за содержанием своей речи он уж был не в состоянии; тем не менее, съезд прослушал его речь с большим вниманием. Одно только из его речи можно было уловить, что он готовил почву среди армии для разгона Учредительного Собрания, если оно станет против Октябрьского переворота. Правые эс-эры и меньшевики из себя выходили; им казалось, что почва после такой агитации в армии для разгона Учредительного Собрания будет подготовлена, этим воспользуются монархисты, разгонят Учредительное Собрание, и в России будет реставрация монархического строя. Положение было очень серьезное, так как у многих из нас — не только у меньшевиков, но и у большевиков—не было уверенности в том, что армия, когда она разойдется по домам, будет поддерживать ту борьбу, которая предстояла в будущем для защиты советского строя. Да и на этом съезде много выплывало шкурных вопросов. Многие части, в том числе и донские казаки, поднимали вопрос об отъезде к себе на родину, под тем предлогом, что там, на родине, обижают их жен и что они не сумеют захватить той земли, которая по праву революции должна была принадлежать им. А это значило оголить фронт, вызвать невероятную панику и в тылу и на фронте, а кто этой паникой сумел бы воспользоваться, — никто не ведает. Съезд никому разрешений на самовольный уход с фронта не давал и такие поползновения отдельных частей осудил. Тем не менее, с фронта продолжали удирать в тыл самовольно. Нужна была организованность и выдержка в этом направлении; съезд и продолжал свою работу.

Прежний армейский комитет в последний момент отказался представить отчет данному съезду. Никто от него на съезд не явился, и вместо отчета была прислана письменная грамота, в которой прежний комитет писал, что этому сборищу бандитов, которое называется армейским съездом, никакого отчета он делать не будет. Мы-де выбранные армией, а вы, кучка бандитов, силой оружия нас, мол, разогнали, но мы будем с вами бороться до конца и дадим отчет только тому съезду, который будет выбран не под диктовку ваших ревкомов, а на вполне свободных началах. Эта грамота была лепетом обиженных людей, и, пожалуй, они политически больше выиграли бы, если бы, вместо своей грамоты, явились сами на съезд и дали ему отчет. Настроение

съезда было не в их пользу, и слишком было серьезное положение; съезду было не до того, чтобы разбирать эту грамоту, и он прошел мимо нее. Перешли к выбору командующего армией. Вместо прежнего, генерала Цеховского, выбрали командующим 7-й армией штабс-капитана Папа-Трандафилова, молодого человека, коммуниста.

Съезд потребовал доставить прежнего командующего армией, генерала Цеховского, для отчета об его деятельности. К этому времени приехал на съезд и комиссар фронта тов. Кузьмин, великолепный оратор, которого съезд выслушал с большим энтузиазмом. Стали распространяться слухи, что генерала собираются убить. Бюро фракции съезда поняло, что оно допустило ошибку, согласившись доставить генерала на съезд, так как убийство это было ненужно и только вредно в политическом отношении. Но отменить решение было поздно. Тогда были приняты все меры к тому, чтобы не допустить самосуда над генералом. На трибуну были выпущены самые популярные ораторы, чтобы подготовить почву для безопасности генерала, и усилили конвой более надежными солдатами. Генерал был доставлен в полной невредимости и незаметно уместился в президиуме съезда, так как был без погон (в это время был уже издан приказ о снятии офицерских и вообще всяких погон). Но когда председатель сказал, что слово принадлежит бывшему командующему, генералу Цеховскому, то раздались невероятные крики: „убить его", „смерть генералу". Генерал побледнел; но опять были выпущены на трибуну тов. Кузьмин и другие, и атмосфера была рассеяна. Генерал получил слово для своего доклада. В своем докладе он сказал только, что он подчиняется новым властям и, раз выбрали нового командующего, он ему охотно передаст дела. В прениях по докладу выступало очень много солдат, и большинство их говорило о перенесенных обидах от офицерского состава при старом режиме. В заключительном слове генерал сказал приблизительно следующее: „Я не могу взять на себя целиком всей вины за те беды, которые вы потерпели от монархического строя; я такой же солдат, как и каждый из вас: выполнял приказы высшего начальства и требовал, чтобы мои приказы выполнялись ниже меня стоящими. Керенского я не меньше вашего ненавидел и ненавижу, ибо не кто иной, как он, окончательно разложил армию введением выборного начала. Я—демократ и признаю только такой демократизм в армии, который дал бы возможность всякому способному солдату стать генералом. Этой возможности солдат из крестьян в царской армии не имел, и это был ее минус, но выборности командного состава, которую ввел Керенский и вы продолжаете, я не признавал и не признаю. На выборности командного состава можно армию только разложить, но построить никогда нельзя, и когда вам, большевикам, взявшим власть, придется серьезно вести войну,—а вам придется воевать серьезно, если вы захотите завоеванную власть удержать в руках,—то я убежден, что и вы откажетесь от выборности. При данных же условиях

я должен сказать, что эта война проиграна, мы побеждены, и всякое правительство при данной ситуации должно заключить мир, если оно хочет сколько-нибудь дорожить интересами дорогой, истерзанной неудачной войной нашей родины. А теперь я прошу только одного, — отпустите меня: я поеду на родину, я измучен, устал и работать не могу, мне надо отдохнуть". — „Ага, к Корнилову хочешь поехать!" — закричали солдаты. Генерала отпустили, и он впоследствии, если мне память не изменяет, был у Колчака; фамилию генерала Цеховского я встречал в процессе колчаковских министров в 1920 г., так что нельзя было обвинять солдат, когда они требовали смерти этого генерала.

Да, на выборности командного состава солдатами армии построить нельзя,—с этой стороны генерал Цеховский был прав, и Красная Армия выборного начала не знала; но, с другой стороны, во время революции, когда в распоряжении революционного правительства не было достаточного офицерского кадра, верного революции, необходимо было вводить выборное начало в армии, чтобы тем самым обезвредить контр-революционное офицерство. Исторически выборное начало, которое тогда проводилось в царской армии, полученной в наследство революцией, само себя оправдало.

Съезд, покончив с генералом, столкнулся с другим, более важным вопросом: получились сведения, что киевская Украинская Рада собирает силы для того, чтобы разогнать все Советы и армейские комитеты и утвердить свою власть на территории Украины. Съезду пришлось оставить необсужденным целый ряд текущих жизненных вопросов для армии, как вопрос о мире, о демобилизации и т. д. Выбрали армейский комитет, призвали всех делегатов немедленно разъехаться по местам и быть стойкими в борьбе с Украинской Радой.

Кому нужно было ехать на Проскуров, доехали туда по железной дороге, а из Проскурова пешком. Так плохо работала тогда железная дорога. Штаб 7-й армии тогда стоял в городке Баре, Подольской губ., и многим нам, делегатам съезда, пришлось из Проскурова в Бар итти пешком 30 верст. Была сильная буря, мятель. По возвращении в Бар я сделал доклад о съезде и направился в Москву. До Киева доехал в теплушке с воинским эшелоном. В Киеве не чувствовалось Октябрьского переворота, и офицеры демонстративно щеголяли в офицерских погонах по Крещатику и ресторанам. В Киеве в это время господствовал Петлюра. Формировались украинские воинские части, был отдан приказ из Киева солдат не выпускать; и мне с большим трудом удалось выбраться из Киева.

Если рассказать о тогдашних поездках, то это был бы не рассказ, а сказка из тысячи и одной ночи. В вагонах стекла были повыбиты, вагоны были так полны солдат, что повернуться нельзя было. Ехали двое суток до Москвы. Такие поездки больше отнимали сил, чем военная служба.

В Москву я приехал в первых числах декабря. Здесь у меня началась уж новая полоса жизни.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
Предисловие	3
I. Рига и начало войны	7
II. Вторая мобилизация в Риге и бегство в Екатеринослав	11
III. Вторая мобилизация в Екатеринославе	13
IV. Первые месяцы военной подготовки в Киеве	14
V. Галиция и наше отступление	19
VI. Опять в России	27
VII. Маршевые роты для пополнения рядов	32
VIII. Работа в штабной типографии	38
IX. Канун Февральской революции 1917 года	40
X. Как армия отнеслась к революции	43
XI. Советы и партийные группировки в армии	45
XII. Перед наступлением 18 июня 1917 года	52
XIII. Выборы в Учредительное Собрание и Октябрьский переворот	57

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРИБОЙ“.

Ленинград, Проспект 25 Октября, дом № 56.
ПРАВЛЕНИЕ и РЕДАКЦИЯ . . . . . Тел. 524-36 и 619-60.
ТОРГОВЫЙ СЕКТОР . . . . . Тел. 545-77 и 217-79.
МОСКОВСКОЕ ОТД.: Москва, Лубянский пассаж, пом. 46—49. Тел. 2-24-09.

Революционные мемуары и беллетристика.

ИСТПАРТ.

Воспоминания И. В. Бабушкина.

1893—1900 г.г.

Стр. 191. Цена 1 р. 10 к.

П. Иванов.

От станка к баррикаде.

Стр. 234. Цена 1 р. 40 к.

А. Герасимов.

КРАСНЫЙ БРОНЕНОСЕЦ.

Вооруженное восстание 1905 г. на броненосце „Потемкин-Таврический“.

Стр. 100. Цена 60 к.

И. Калинин.

Под знаменем Врангеля.

Заметки бывш. военного прокурора.

Стр. 273. Цена 1 р. 50 к.

В. Воробьев.

ПЕРЕД РАССВЕТОМ.

(Воспоминания).

Стр. 169. Цена 60 к.

П. Краснов, ген.

На внутреннем фронте.

Стр. 128. Цена 80 к.

С. Минин.

ГОРОД БОЕЦ.

Шесть диктатур 1917 г.

Стр. 248. Цена 1 р. 10 к.

В. В. Шульгин.

ДНИ.

Воспоминания о днях 1905 г. и февральской революции.

Стр. 228. Цена 1 р. 10 к.

Я. Михайлов.

Из жизни рабочего.

Стр. 88. Цена 40 к.

К. Орлов.

Жизнь рабочего революционера.

Стр. 37. Цена 20 к.

Д. Петровский.

АРЕСТ.

Стр. 30. Цена 15 к.

А. М. Амур-Санан.

МУДРЕШКИН СЫН.

С предисловием Ф. Ф. Раскольникова.

Стр. 197. Цена 1 р.

А. Шаповалов.

НА ПУТИ К МАРКСИЗМУ.

Записки рабочего революционера, в трех частях.

Стр. 270. Цена 1 р. 60 к.

Цена 45 коп.

ТОРГСЕКТОР ИЗДАТЕЛЬСТВА „ПРИБОЙ“

Ленинград: просп. 25 Октября, дом № 56. Тел. 2-17-79 и 2-07-67

Московское отделение: Лубянский пассаж. Тел. 2-24-09

Отделения: в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Харькове, Екатеринославе, Киеве, Одессе, Саратове, Свердловске, Перми, Н.-Новгороде, Череповце и Новгороде